Живая классика

Леди Макбет Мценского уезда

Николай Лесков



Леди Макбет Мценского уезда
Николай Семёнович Лесков

Аннотация
Николай Лесков. Леди Макбет Мценского уезда
«Уютный» и «неуютный» писатель лесков
«Неуютный» Лесков
Шершавый язык
«Уютный» Лесков
Чудесный жанр
Хронист, коллекционер, энциклопедист
Леди Макбет Мценского уезда
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая

Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Однодум
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Зверь
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая

Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Старый гений
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Пугало
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая

Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Примечания
Леди Макбет Мценского уезда
Однодум
Зверь
Старый гений
Пугало

Аннотация

В книгу вошли повесть «Леди Макбет Мценского уезда», рассказы «Однодум», «Зверь», «Старый гений», «Пугало» замечательного русского писателя Н. С. Лескова (1831–1895).

К изображению характеров своих героев писатель подходит с одинаковым вниманием, будь то нищий простолюдин, купчиха или важный сановник. Часто его истории, насыщенные драматизмом, основаны на реальных событиях и напоминают документальную хронику русской жизни.

Для старшего школьного возраста.

Николай Лесков
Леди Макбет Мценского уезда



Серия «Живая классика»



1831–1895

Художник *Евгения Жаде*

Печатается по изданию:
Лесков, Н. С. Собрание сочинений. В 12 томах /

Н. С. Лесков. — Москва: Издательство «Правда», 1989.

Вступительная статья М. АРТЕМЬЕВОЙ

© Артемьева М. Г., вступительная статья, 2026
© Жаде Е. И., иллюстрации, 2026
© Комракова Е. А., иллюстрация на обложке, 2026
© Оформление серии, составление.
АО «Издательство «Детская литература», 2026

*[1]

[1] Примечания: 1
Слова, обозначенные *, см. в комментариях на с. 247.

«Уютный» и «неуютный» писатель лесков

«Самый русский из наших писателей», — писал Лев Толстой о Лескове. Максим Горький впоследствии поддержал его слова, объявив «самобытнейшим писателем русским, чуждым всяких влияний со стороны». Почему же тогда Лесков при жизни недополучил признания, да и современные читатели мало знают его творчество, а если и вспоминают какие-то из его произведений, то непременно «Левшу» (в школе проходили, и еще мультфильм такой есть) или «Леди Макбет Мценского уезда» (чаще по фильмам)? А как же насчет остального наследия? Ведь оно огромно: романы, повести, рассказы, публицистика, драма.

Так почему же о Лескове почти забыли?

Вероятное объяснение — не вписался в эпоху. Для писателя это примерно то же самое, что для птенца выпасть из гнезда. Однако, выпав из своей эпохи, писатель может состояться в другой, в будущей. В литературе бывали такие случаи. К примеру, Михаил Булгаков, Андрей Платонов.

Или вот Говард Лавкрафт: при жизни никого не интересовал; считался странным, чуть ли не полусумасшедшим. Зато спустя полвека после смерти сделался одним из самых значительных авторов американской фантастики. Но нашему Лескову, похоже, не повезло и в этом.

«Неуютный» Лесков

Николай Семенович Лесков был натурой правдивой, душой обладал пламенной, глазом приметливым и умом острым. Такие люди не могут не заметить в чем-либо непорядка: любая мелочь будет мозолить им глаза и задевать нервы. Промолчать они тоже не в силах из-за честности характера. Лесков с его пытливым умом, чувствительным сердцем и требовательной душой склонен был к критике, сатирическому бичеванию пороков, к публицистике.

С настойчивостью ученого или коллекционера он выделял и систематизировал происходящие вокруг него явления. Свой первый литературный труд Лесков опубликовал в журнале «Отечественные записки» в начале 1861 года; назывался он сухо и деловито: «Очерки винокуренной промышленности». Выбор публицистического жанра для Николая Семеновича не стал случайным, а, напротив, был предопределен его предыдущим жизненным опытом.

Свою карьеру государственного чиновника Лесков начинал писцом в уголовной палате. А вышло это так. Будущий русский классик плохо

учился в школе — просто из рук вон! Невзирая на врожденные способности и любовь к чтению, он не принимал зубрежки и скучал на уроках, никакого старания к наукам не прилагал и учителей своих не радовал. Так и вышло, что, просидев в Орловской губернской гимназии пять лет, ничему он толком не выучился — разве что красиво и разборчиво писать. Ему и аттестат выдали только за два класса — с таким выпускным листом продолжать обучение в университете он не мог. Бросив гимназию, юноша решил пойти по стопам отца, Семена Дмитриевича Лескова, когда-то работавшего дворянским заседателем в Орловской палате уголовного суда.

Устроившись помощником столоначальника, Николай Лесков занялся переписыванием судебных документов. Эта работа позволила ему ближе познакомиться с жизнью российской провинции, с самыми разными ее сторонами.

Прослужив в канцелярии около года, Николай Лесков берет отпуск и уезжает в Киев, где поселяется у дяди Сергея Петровича Алферьева, врача-терапевта и профессора медицинского факультета Императорского университета св. Владимира. Благодаря его влиянию Николай Семенович увлекся филологией и языками,

в качестве вольнослушателя начал посещать университетские лекции, изучал историю иконописи и неплохо продвинулся в карьере как государственный чиновник, сам сделался столоначальником, а потом и губернским секретарем.

Однако в 1857 году он уволился с государственной службы и пошел работать в торговую компанию своего родственника по матери — англичанина Шкотта. Торговые дела сделали из него вечного путешественника: Лесков объездил всю Россию — многое повидал, многое испытал…

Впоследствии, серьезно занявшись литературой, Николай Семенович многие свои художественные произведения основывал, как сейчас говорят, «на реальных событиях», заинтересовавшись криминальными сюжетами. Работа в уголовной палате и на государственных должностях предоставила ему много подобных материалов.

В 1865 году в журнале «Эпоха» под псевдонимом М. Стебницкий Лесков опубликовал повесть «Леди Макбет Мценского уезда» — настоящий психологический триллер, криминальный репортаж об убийстве в купеческом доме.

Кто такая Катерина Измайлова, главная героиня повести? Современники не могли не

сравнивать ее с другой Катериной — Кабановой — из пьесы Александра Островского «Гроза». И та и другая молодые женщины обладают сильным характером, обе они несчастливы в замужестве и стремятся освободиться от удушающей атмосферы богатого купеческого дома, зажимающей живых людей в мертвых рамках ретроградной традиции. Влюбившись, и та и другая не желают притворяться и врать. Открывая правду мужьям, обе они рвутся к свободе — но насколько по-разному!

Если Катерину Кабанову ее стихийный бунт приводит к трагедии самоубийства — таков единственный для нее способ освободиться от тирании мужа и свекрови, то Катерина Измайлова полагает вполне допустимым другой вариант: ради необузданной страсти она «идет по головам», приносит ей кровавые жертвы и даже свою смерть сочетает с актом мести.

Если Катерина Кабанова — «луч света в темном царстве», то Катерина Измайлова — полная ей противоположность: адская бездна, темная стихия.

И сама по себе история о ней получилась пугающая, а местами даже по-гоголевски жуткая, в духе страшных народных сказок. Таков, к приме-

ру, эпизод сна Катерины, когда в виде покойного свекра ей примерещился кот:

«А кот курны-мурны у нее над ухом, уткнулся мордою да и выговаривает: “Какой же, — говорит, — я кот! С какой стати! Ты это очень умно, Катерина Львовна, рассуждаешь, что совсем я не кот, а я именитый купец Борис Тимофеич. Я только тем теперь плох стал, что у меня все мои кишечки внутри потрескались от невестушкиного от угощения. <..> Ты меня не бойся: у меня, видишь, от твоего угощения и глазки повылезли. Глянь мне в глаза-то, дружок, не бойся!”

Катерина Львовна глянула и закричала благим матом. Между ней и Сергеем опять лежит кот, а голова у того кота Бориса Тимофеича во всю величину, как была у покойника, и вместо глаз по огненному кружку в разные стороны так и вертится, так и вертится!»

Если бы Лесков писал ради развлечения читающей публики, он бы мог успешно развиваться в жанре ужасов. И, возможно, даже мастера кошмаров Гоголя «догнал бы и перегнал». Николай Семенович тонко чувствовал и умел передать страшное, мистическое, используя те же фольклорные источники, что и автор знаменитого «Вия».

Однако Николай Семенович не стремился развлекать. У него слишком душа горела за своих персонажей, живых людей, чтобы еще заботиться об удовольствиях неизвестного ему читателя и ради одной занимательности отказываться от правды жизни.

За это и корили его современники: дескать, что за человек этот Лесков — ничего хорошего вокруг себя не видит! Не щадит ни себя ни других. И в «Леди Макбет» изобразил какой-то нетипичный женский характер. К чему такие жестокие, невообразимые страсти?

Вероятно, в какой-то момент Лесков устал от криминальных хроник и решил создать собственную галерею праведников — отыскать и описать их. Словно бы во исполнение Божьего повеления, отданного, согласно Библии, Аврааму в Содоме: отыскать праведных, чтобы гневом своим Господь не погубил целый город.

Лесков задался той же идеей. Вот как он сам объяснил это, предваряя сборник рассказов о русских праведниках.

«Как, — думал я, — неужто в самом деле ни в моей, ни в его и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто всё доброе и хорошее, что когда-либо заметил художествен-

ный глаз других писателей, — одна выдумка и вздор? Это не только грустно, это страшно. Если без трех праведных, по народному верованию, не стоит ни один город, то как же устоять целой земле с одной дрянью, которая живет в моей и твоей душе, мой читатель?

Мне это было и ужасно, и несносно, и пошел я искать праведных, пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя то небольшое число трех праведных, без которых “несть граду стояния”…»

В лесковский цикл о праведниках входят рассказы: «Однодум», «Несмертельный Голован», «Инженеры бессребреники», «Очарованный странник», «Левша», «Шерамур», «Человек на часах».

В библейской книге Притчей Соломоновых упоминаются двадцать три качества праведника, по которым можно его распознать. Возможно, этим списком и руководствовался Лесков, начиная свою галерею удивительных портретов. И, верный своей постоянной правдивости, написал он их, опираясь на реальную жизнь, то есть ничего не выдумывая.

Своими рассказами писатель Лесков то обличал, то будоражил совесть людей, подзаплывшую основательно жиром, поросшую плесенью. Лес-

ков видел в литературе хорошее средство, чтобы содрать эту корку и, обнажив человеческие души, омыть их жгучими слезами — очистить и возродить к лучшей, более правильной жизни.

Но ведь в XIX веке все лучшие русские писатели работали в этом русле: литература создавалась под знаменем служения обществу, ради воспитания и всеобщей пользы. В чем же особенность Лескова, что делало его таким «неуютным», неудобным автором?

Все сознавали, что имеющиеся в обществе социальные недуги следует лечить. Вот только способы лечения предлагали разные. По этой части Лесков очень сильно расходился во мнении со своими современниками. Если общество в массе своей грезило революцией, наполнялось прагматизмом, атеизмом и нигилизмом, то Лесков никакой пользы в нигилизме не находил. Классовые различия в людях не признавал, не собирался отвечать требованиям масс и вообще заниматься какой-то социальной инженерией, а проповедовал идею деятельного и самоотверженного добра. Семейная близость со священнической средой (родственники Лескова со стороны отца были священнослужителями) заставляла его искать в духовной сфере ответы на сложные вопросы.

Хотя иной раз он сам над этим мягко подшучивал, относясь к христианскому учению с той же иронией, с какой относился к нему русский народ.

Например, в повести «Однодум», опубликованной в 1879 году, Лесков излагает историю «библейского социалиста» Алексашки Рыжова, который, сделавшись квартальным в городе Солигалич, никогда взяток не брал. Удивительную праведность этого феноменального персонажа другие герои повести объясняют так:

«– Библии начитался.

— Ишь его, дурака, угораздило!

— Да; начитался от скуки и позабыть не может.

— Экий дурак! Что же теперь с ним сделать?

— Ничего не сделаешь: он уже очень далеко начитан.

— Неужели до самого до «Христа» дошел?

— Всю, всю прочитал.

— Ну, значит, шабаш.

Пожалели и стали к Рыжову милостивее. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и «до Христа дочитался», с того резонных поступков строго спрашивать нельзя; но зато этакие люди что юродивые, — они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся».

Квартальный Рыжов «чудесит» — даров не берет, живет на одно свое законное жалованье. («Виданное ли дело? Как такое возможно?» — изумляется его начальник.) Он честен, правдив, перед высокими чинами не гнется, не выслуживается, ничего для себя не выгадывает!

Здесь Лесков перекликается с Достоевским. В романе «Идиот», опубликованном в 1869 году, Федор Михайлович высказывал ту же мысль: обыкновенному человеку просто не под силу во всем следовать заветам Христа, а если и попытаешься, то сочтут либо лицемером, либо сумасшедшим. Как всякий идеал, заветы эти для жизни бывают неудобны, недостижимы, но стремиться к ним необходимо.

Осознавая это, Лесков отвергал модный в те времена нигилизм, хотя в некоторых кругах он считался единственным и лучшим способом реформирования общества. Не только отвергал, но даже иронически высмеивал:

«– Бездельники! Что ж, они думают, зачем они собираются у вас?

— Им кажется, что они делают революцию».

Самые злые свои романы «Некуда» и «На ножах», за которые Лесков прослыл «реакционным», писатель настолько подчинил идее неприятия

нигилизма, что кое-где ради «простодушного натурализма» пожертвовал художественностью, отчего сам впоследствии эти романы недолюбливал.

Так и получалось, что ругал ли он кого (и нигилистов, и государство), либо хвалил (любимых своих праведников) — он во всяком случае был «неуютен», резок.

Шершавый язык

Отдавая должное необыкновенно богатому лесковскому словарю, критики писателя всё равно ругали: мол, для чего таким излишне замысловатым, причудливым языком пишет? Что это, к примеру, за странные слова: «мелкоскоп», «буреметры», «непромокабли», «ногавочки»?

Эти неологизмы в народном стиле Лесков придумал для своего сказа о Левше.

Самое интересное — простые люди из народа хорошо все придуманные выражения понимали: «коверканье» слов, ёрническое упрощение было для них естественно. Зато образованной публике, привыкшей к чистой литературной речи, всё это «скоморошество» претило.

Вот некий критик М. О. Меньшиков пишет о Лескове: «Язык Лескова, пока к нему не привыкнешь, кажется искусственным и пестрым. Как некогда венецианцы, делая набеги на Восток, отовсюду привозили что-нибудь для своего собора Св. Марка… так и Лесков в постройке своего языка: он обобрал, кажется, все сокровищницы и кладовые русской речи. Стиль его неправилен, но богат и даже страдает пороками богатства

— пресыщенностью».

Лесков так отвечал критикам: «Язык, которым написаны многие страницы моих работ, сочинен не мною, а подслушан у мужика, у полуинтеллигента, у краснобаев, у юродивых и святош. Ведь я собирал его много лет по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и монастырях… Я внимательно и много лет прислушивался к выговору и произношению русских людей на разных степенях их социального положения. Они все говорят у меня по-своему, а не по-литературному».

Много разъезжая по стране в качестве торгового агента, Лесков лучше других знал русский язык во всем его чудесном разнообразии — диалекты, говоры, жаргоны. И всем этим богатством умело пользовался. Смотрите, как Николай Семенович описывает главного героя в «Левше»: «Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится».

Сколько удивительных, заковыристых слов, да как еще по-особому повернуты! Не всякий писатель может похвастаться таким знанием русской

речи. Неудивительно, что многим литературным критикам и коллегам — собратьям по перу «непричесанный» стиль Лескова не нравился.

А Лесков к тому же умел быть и ершистым, и едким.

«Нынче уже всякий шиш литератора из себя корчит», — не стесняясь пишет он в рассказе «Отборное зерно».

Многие лесковские фразы по своей образности, емкости и афористичности близки к фольклорным крылатым выражениям, пословицам. И не отличишь: то ли выдумано, то ли «подслушано» где-то.

Задолго до П. П. Бажова и Б. В. Шергина Лесков вслед за Гоголем создал свой особый народно-авторский литературный стиль, который впоследствии назвали «сказом». От слова «сказывать», то есть говорить. Из названия понятно, что это такой тип повествования, который ведется от первого лица и не писаной, регламентированной, литературной речью, а речью живой, максимально приближенной к привычному разговорному языку рассказчика или лирического героя.

Сказ позволяет персонажу-рассказчику выражать себя как бы без авторского контроля. Иногда в произведении сочетаются и авторская речь,

и речь персонажей, что делает текст еще более разнообразным и многоплановым.

Яркий, шумный, многоцветный лесковский сказ сохраняет в себе, как в сокровищнице, самые удивительные перлы русского языка. За одно это Лескова читать необходимо: чтобы узреть русский язык во всем его объеме и блеске.

«Уютный» Лесков

И всё же Лескова нельзя не назвать еще и «уютным» автором. Ведь уют — это не столько удобство и комфорт, сколько ощущение родства. Чувство дома — вот что берет за душу сильнее всего, когда читаешь Лескова. Близость, родство, русскость во всем — в языке, в характере, в сюжетах и подходах.

Благодаря родству и близости, «уютному» Лескову удается через мелочь, анекдот и чепуху разглядеть нечто большее, космически важное, духовное — и заставить читателя задуматься об этом великом без нажима и надрыва, а как бы между делом.

Взять, к примеру, его рассказ «Грабеж» 1887 года. В основе сюжета невероятно смешная история о том, как с одного дьякона «в ночь под Рождество» честные люди часы и шапку сорвали, совершенно не предполагая грабить кого-то. Да только «коли придет воровской час», то и праведник ограбит! — уверяет персонаж рассказа. Так с ним и произошло. И стало причиной невероятных мук совести.

Казалось бы, просто любопытный смешной

пустячок. Но ведь это Лесков! А он всюду умел находить глубину. В маленьком «пустячке» заключена большая мораль: напоминание о необходимости христианского смирения и покаяния человека перед Богом.

Но, даже если речь идет о чуде, Лесков напоминает:

«– Бог сам ничего в людских делах не делает.

— Понятно, что всё люди будут делать.

— Когда они станут людьми».

Маленькое, но очень важное чудо творит для бедной старушки-помещицы некий Иван Иваныч, на котором «чин из четырнадцати овчин», — темная личность, опустившийся мелкий чиновник, имеющий, однако, множество «гениальных мыслей». Это сюжет лесковского рассказа «Старый гений» 1884 года.

Простодушная провинциальная старушка-помещица имела несчастье ради памяти умершей подруги одолжить ее сыночку, великосветскому франту и бессовестному прохвосту, большие деньги. Чтобы его выручить, заложила собственное имение, а франт, пообещав отдать долг, уехал в город и преспокойно о долге своем «забыл». И уже никаким судом невозможно было с негодяя денег стребовать! Связи в высшем свете у него

оказались таковы, что не находилось смельчака, кто бы вручил ему судебное требование на возврат долга. Тем временем срок заклада подходил: старая женщина рисковала лишиться не только денег, но и остаться на улице с больной дочерью и маленькой внучкой. Положение отчаянное!

Но «гений» Иван Иваныч отыскивает хитрый способ и деньги и спокойствие женщине вернуть.

Здесь особенно важна одна деталь: действие рассказов «Грабеж» и «Старый гений» приходится на Рождество. А это означает, что перед нами типичные святочные рассказы. Или святочные повести.

Чудесный жанр

Считается, что начало святочным рассказам в литературе положил Чарльз Диккенс, опубликовав в 1843 году повесть-сказку «Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями».

Святками, или Святочной неделей называют дни между двумя главными христианскими праздниками — Рождеством и Крещением. В Святочной неделе не семь, а одиннадцать дней. И конечно, это особое время. Традиционно в эти праздничные дни люди не работали, заполняя свой досуг визитами к родственникам и друзьям, гуляньями, играми, гаданьем. Среди распространенных развлечений были и страшные рассказы о призраках, мистические истории и тому подобное.

Исходя из этой общей для всех христиан традиции, Диккенс и написал свою «Рождественскую песнь» — нравоучительную историю о призраках и о чуде исправления жестокого богача Скруджа.

«Рождественская песня» имела большой успех. Публика потребовала новых рассказов в том же роде. И Диккенс писал их, публикуя каждый год

под Рождество.

А «Рождественская песнь» с ее четкой структурой на долгие годы стала образцом литературного святочного рассказа, вызвав волну подражаний. В итоге сложился отдельный жанр со своими канонами, рамками и правилами.

Русская литература, как часть европейской, тоже восприняла их. В 1870–1890-е годы были написаны самые известные русские святочные рассказы: «Ванька» А. П. Чехова, «Чудесный доктор» А. И. Куприна, «Мальчик у Христа на елке» Ф. М. Достоевского…

Николай Семенович Лесков проявил интерес к теме одним из первых. Он еще с 1860-х годов посвящал самым любимым в народе зимним праздникам специальные эпизоды в своих произведениях. А первую историю с подзаголовком «Рождественский рассказ» он опубликовал в 1873 году под названием «Запечатленный ангел».

Впоследствии писатель создал целую россыпь святочных рассказов и в 1886 году издал их отдельной книгой. В сборник вошли: «Жемчужное ожерелье», «Зверь», «Старый гений», «Отборное зерно», «Пугало» и другие.

В отработанную «схему» святочного рассказа

Лесков — самый русский автор — привносит собственные оригинальные идеи.

В рассказе «Жемчужное ожерелье» 1885 года он делает вывод, что представляет собой святочный рассказ:

«От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера — от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец — чтобы он оканчивался непременно весело…»

Эту фразу Лесков вкладывает в уста одного из своих персонажей, спорящего о литературе с друзьями. И далее дает понять, что рамки европейского святочного рассказа тесноваты — следует их раздвигать.

Развитие данного жанра в отечественной литературе привело к тому, что русский святочный рассказ перестал быть таким сентиментальным, как в Европе. Он может повествовать о страшных вещах и, утверждая добро и милосердие, оканчиваться все-таки трагически.

Лесков и в святочных рассказах старался придерживаться «правды жизни»: в его текстах даже чудеса реалистичны и делаются руками людей.

Так, в трогательной святочной истории «Пугало» жестокосердные люди, оклеветавшие доброго и честного управителя постоялого двора Селивана, однажды прозревают и меняют свое отношение к нему. Только за то, что он не поддался общему озлоблению, его сделали изгоем, объявили колдуном и разбойником и, дав прозвание Пугало, стращали им и детей и взрослых.

Но, волей случая, Селиван совершает неожиданный для своих недоброжелателей поступок, раскрывая истинный характер, и люди наконец понимают ошибку.

«Пугало было не Селиван, а вы сами, — ваша к нему подозрительность…» — говорит один из персонажей рассказа, мудрый священник.

В святочном рассказе «Зверь» Лесков показывает дикие нравы помещиков, типичные для дореформенного времени, когда богачи — владельцы и земли, и крепостных — могли вести себя как истинные царьки в своих вотчинах. Никто не решался им противостоять: самодуры были вольны издеваться как над животными, так и над людьми.

Герой рассказа, бесчувственный дядюшка рассказчика, убив в лесу медведицу, забирает медвежат для развлечения, а когда те подраста-

ют, травит их собаками.

Самый смышленый медвежонок по кличке Сганарель живет дольше других благодаря своей «дружбе» с молодым охотником Храпошей, который за ним ухаживает. Но именно Храпоше хозяин дома поручает убить Сганареля. У охотника сердце кровью обливается, но есть ли у него выбор? Барин грозится наказать Храпошу за неповиновение. Может ли что-то спасти Сганареля, смягчить безжалостного хозяина?

Двусмысленное название повести «Зверь» заставляет читателя задуматься: кто же здесь настоящий зверь — Сганарель или злой помещик?

Хронист, коллекционер, энциклопедист

Многие произведения Лескова невозможно причислить к привычным жанрам — рассказам, очеркам, новеллам: нет, это именно коллекции, для которых автор с большим усердием собирал материал.

И здесь открывается другая «уютность» Лескова.

Словно умный рачительный хозяин, приводящий в порядок дом, он, каждой вещи определяя подобающее место, составлял уникальные коллекции народной русской жизни и подавал их, красиво оформленные, в художественных рамках под прозрачным стеклом своего стиля.

Что есть в его литературных «коллекциях»? Интересные рассказы о «мелочах» — особенностях русского быта, о народных привычках, пристрастиях, верованиях и суевериях. Каких только необыкновенных историй, анекдотов, заметок не обнаружишь у Лескова! Николая Семеновича занимало всё, ему до всего было дело. Он исследовал истории русских фамилий, да с

каким вкусом и увлеченностью! «Геральдический туман» — исключительно любопытное и забавное исследование на тему недостоверности родословий.

Много «коллекций» сложил Лесков о жизни священников: «Мелочи архиерейской жизни» — об орловских, а «Печерские антики» — о малороссийских служителях церкви.

В художественном исследовании — «коллекции» — «Старинные психопаты» он излагает излюбленные народные анекдоты о персонажах, которые существуют в первую очередь в народной памяти, — то ли потому, что они и взаправду исторические лица, то ли потому, что легенды эти были придуманы в народной среде.

В любом случае все они воссоздают и характер народа, их породившего, и явления русской жизни с их многовековыми корнями.

Правдивый летописец, хронист и хранитель русского языка, истории и быта, Лесков умер в 1895 году. Неудобный ни современникам, ни потомкам, он ушел, по словам критика А. В. Амфитеатрова, «…все-таки мало признанный и немного более чем терпимый…». Пора новым поколениям читателей восстановить справедливость.

Мария Артемьева

Леди Макбет Мценского уезда

«Первую песенку зардевшись спеть».
Поговорка



Глава первая

Иной раз в наших местах задаются такие характеры, что, как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнишь без душевного трепета. К числу таких характеров принадлежит купеческая жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая некогда страшную драму, после которой наши дворяне, с чьего-то легкого слова, стали звать ее *леди Макбет Миценского уезда.*

Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по наружности женщина очень приятная. Ей от роду шел всего двадцать четвертый год; росту она была невысокого, но стройная, шея точно из мрамора выточенная, плечи круглые, грудь крепкая, носик прямой, тоненький, глаза черные, живые, белый высокий лоб и черные, аж досиня черные волосы. Выдали ее замуж за нашего купца Измайлова с Тускари* из Курской губернии, не по любви или какому влечению, а так, потому что Измайлов к ней присватался, а она была девушка бедная, и перебирать женихами ей не приходилось. Дом Измайловых в нашем городе был не последний: торговали они крупчаткою, держа-

ли в уезде большую мельницу в аренде, имели доходный сад под городом и в городе дом хороший. Вообще купцы были зажиточные. Семья у них к тому же была совсем небольшая: свекор Борис Тимофеич Измайлов, человек уж лет под восемьдесят, давно вдовый; сын его Зиновий Борисыч, муж Катерины Львовны, человек тоже лет пятидесяти с лишком, да сама Катерина Львовна, и только всего. Детей у Катерины Львовны пятый год, как она вышла за Зиновия Борисыча, не было. У Зиновия Борисыча не было детей и от первой жены, с которою он прожил лет двадцать, прежде чем овдовел и женился на Катерине Львовне. Думал он и надеялся, что даст ему Бог хоть от второго брака наследника купеческому имени и капиталу; но опять ему в этом и с Катериной Львовной не посчастливилось.

Бездетность эта очень много огорчала Зиновия Борисыча, и не то что одного Зиновия Борисыча, а и старика Бориса Тимофеича, да даже и самое Катерину Львовну это очень печалило. Раз, что скука непомерная в запертом купеческом терему с высоким забором и спущенными цепными собаками не раз наводила на молодую купчиху тоску, доходящую до одури, и она рада бы, бог весть как рада бы она была понянчиться с деточ-

кой; а другое — и попреки ей надоели: «Чего шла да зачем шла замуж; зачем завязала человеку судьбу, неро́дица», словно и в самом деле она преступление какое сделала и перед мужем, и перед свекром, и перед всем их честным родом купеческим.

При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала мало, да и то если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на радость. Народ все строгий: наблюдают, как она сядет, да как пройдет, как встанет; а у Катерины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к простоте и свободе: пробежать бы с ведрами на реку да покупаться бы в рубашке под пристанью или обсыпать через калитку прохожего молодца подсолнечною лузгою; а тут все иначе. Встанут свекор с мужем ранехонько, напьются в шесть часов утра чаю, да и по своим делам, а она одна слоняет слоны из комнаты в комнату. Везде чисто, везде тихо и пусто, лампады сияют перед образами, а нигде по дому ни звука живого, ни голоса человеческого.

Походит, походит Катерина Львовна по пустым комнатам, начнет зевать со скуки и полезет по лесенке в свою супружескую опочивальню,

устроенную на высоком небольшом мезонинчике. Тут тоже посидит, поглазеет, как у амбаров пеньку вешают или крупчатку ссыпают, — опять ей зевнется, она и рада: прикорнет часок-другой, а проснется — опять та же скука русская, скука купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться. Читать Катерина Львовна была не охотница, да и книг к тому ж, окромя киевского патерика*, в доме их не было.

Скучною жизнью жилось Катерине Львовне в богатом свекровом доме в течение целых пяти лет ее жизни за неласковым мужем; но никто, как водится, не обращал на эту скуку ее ни малейшего внимания.

Глава вторая

На шестую весну Катерины Львовниного замужества у Измайловых прорвало мельничную плотину. Работы на ту пору, как нарочно, на мельницу было завезено много, а прорва учинилась огромная: вода ушла под нижний лежень* холостой скрыни*, и захватить ее скорой рукой никак не удавалось. Согнал Зиновий Борисыч народу на мельницу с целой округи и сам там сидел безотлучно; городские дела уж один старик правил, а Катерина Львовна маялась дома по целым дням одна-одинешенька. Сначала ей без мужа еще скучней было, а тут будто даже как и лучше показалось: свободнее ей одной стало. Сердце ее к нему никогда особенно не лежало, а без него по крайней мере одним командиром над ней стало меньше.

Сидела раз Катерина Львовна у себя на вышке под окошечком, зевала-зевала, ни о чем определенном не думая, да и стыдно ей наконец зевать стало. А на дворе погода такая чудесная: тепло, светло, весело, и сквозь зеленую деревянную решетку сада видно, как по деревьям с сучка на сучок перепархивают разные птички.

«Что это я в самом деле раззевалась? — подумала Катерина Львовна. — Семну я хоть встану по двору погуляю или в сад пройдусь».

Накинула на себя Катерина Львовна старую штофную шубочку* и вышла.

На дворе так светло и крепко дышится, а на галерее у амбаров такой хохот веселый стоит.

— Чего это вы так радуетесь? — спросила Катерина Львовна свекровых приказчиков.

— А вот, матушка Катерина Ильвовна, свинью живую вешали, — отвечал ей старый приказчик.

— Какую свинью?

— А вот свинью Аксинью, что родила сына Василья да не позвала нас на крестины, — смело и весело рассказывал молодец с дерзким красивым лицом, обрамленным черными как смоль кудрями и едва пробивающейся бородкой.

Из мучной кади, привешенной к весовому коромыслу, в эту минуту выглянула толстая рожа румяной кухарки Аксиньи.

— Черти, дьяволы гладкие, — ругалась кухарка, стараясь схватиться за железное коромысло и вылезть из раскачивающейся кади.

— Восемь пудов* до обеда тянет, а пихтерь* сена съест, так и гирь недостанет, — опять объяснял красивый молодец и, повернув кадь, выбросил

кухарку на сложенное в угле кульё.

Баба, шутливо ругаясь, начала оправляться.

— Ну-ка, а сколько во мне будет? — пошутила Катерина Львовна и, взявшись за веревки, стала на доску.

— Три пуда семь фунтов*, — отвечал тот же красивый молодец Сергей, бросив гирь на весовую скайму. — Диковина!

— Чему ж ты дивуешься?

— Да что три пуда в вас потянуло, Катерина Ильвовна. Вас, я так рассуждаю, целый день на руках носить надо — и то не уморишься, а только за удовольствие это будешь для себя чувствовать.

— Что ж я, не человек, что ли? Небось тоже устанешь, — ответила, слегка краснея, отвыкшая от таких речей Катерина Львовна, чувствуя внезапный прилив желания разболтаться и наговориться словами веселыми и шутливыми.

— Ни боже мой! В Аравию счастливую занес бы, — отвечал ей Сергей на ее замечание.

— Не так ты, молодец, рассуждаешь, — говорил ссыпавший мужичок. — Что есть такое в нас тяжесть? Разве тело наше тянет? тело наше, милый человек, на весу ничего не значит: сила наша, сила тянет — не тело!

— Да, я в девках страсть сильна была, — сказа-

ла, опять не утерпев, Катерина Львовна. — Меня даже мужчина не всякий одолевал.

— А ну-с, позвольте ручку, если как это правда, — попросил красивый молодец.

Катерина Львовна смутилась, но протянула руку.

— Ой, пусти кольцо: больно! — вскрикнула Катерина Львовна, когда Сергей сжал в своей руке ее руку, и свободною рукою толкнула его в грудь.

Молодец выпустил хозяйкину руку и от ее толчка отлетел на два шага в сторону.

— Н-да, вот ты и рассуждай, что женщина, — удивился мужичок.

— Нет, а вы позвольте так взяться, наборки, — относился, раскидывая кудри, Серега.

— Ну, берись, — ответила, развеселившись, Катерина Львовна и приподняла кверху свои локоточки.

Сергей обнял молодую хозяйку и прижал ее твердую грудь к своей красной рубашке. Катерина Львовна только было пошевельнула плечами, а Сергей приподнял ее от полу, подержал на руках, сжал и посадил тихонько на опрокинутую мерку*.

Катерина Львовна не успела даже распорядиться своею хваленою силою. Красная-раскрасная,

поправила она, сидя на мерке, свалившуюся с плеча шубку и тихо пошла из амбара, а Сергей молодецки кашлянул и крикнул:

— Ну вы, олухи царя небесного! Сыпь, не зевай, гребла не замай; будут вершки, наши лишки.

Будто как он и внимания не обратил на то, что сейчас было.

— Девичур этот проклятый Сережка! — рассказывала, плетясь за Катериной Львовной, кухарка Аксинья. — Всем вор взял — что ростом, что лицом, что красотой. Какую ты хочешь женчину, сейчас он ее, подлец, улестит, и улестит, и до греха доведет. А что уж непостоянный, подлец, пренепостоянный-непостоянный!

— А ты, Аксинья… того, — говорила, идучи впереди ее, молодая хозяйка, — мальчик-то твой у тебя жив?

— Жив, матушка, жив — что ему! Где они не нужны-то кому, у тех они ведь живущи.



— И откуда это он у тебя?

— И-и! так гулевой — на народе ведь живешь-то — гулевой.

— Давно он у нас, этот молодец?

— Кто это? Сергей-то, что ли?

— Да.

— С месяц будет. У Копчоновых допреж служил, так прогнал его хозяин. — Аксинья понизила голос и досказала: — Сказывают, с самой с хозяйкой в любви был… Ведь вот, треанафемская* его душа, какой смелый!

Глава третья

Теплые молочные сумерки стояли над городом. Зиновий Борисыч еще не возвращался с попрудки. Свекра Бориса Тимофеича тоже не было дома: поехал к старому приятелю на именины, даже и к ужину заказал себя не дожидаться. Катерина Львовна от нечего делать рано повечёрила, открыла у себя на вышке окошечко и, прислонясь к косяку, шелушила подсолнечные зернышки. Люди в кухне поужинали и расходились по двору спать: кто под сараи, кто к амбарам, кто на высокие душистые сеновалы. Позже всех вышел из кухни Сергей. Он походил по двору, спустил цепных собак, посвистал и, проходя мимо окна Катерины Львовны, поглядел на нее и низко ей поклонился.

— Здравствуй, — тихо сказала ему с своей вышки Катерина Львовна, и двор смолк, словно пустыня.

— Сударыня! — произнес кто-то чрез две минуты у запертой двери Катерины Львовны.

— Кто это? — испугавшись, спросила Катерина Львовна.

— Не извольте пугаться: это я, Сергей, — отве-

чал приказчик.

— Что тебе, Сергей, нужно?

— Дельце к вам, Катерина Ильвовна, имею: просить вашу милость об одной малости желаю; позвольте взойти на минуту.

Катерина Львовна повернула ключ и впустила Сергея.

— Что тебе? — спросила она, сама отходя к окошку.

— Пришел к вам, Катерина Ильвовна, попросить, нет ли у вас какой-нибудь книжечки почитать. Скука очень одолевает.

— У меня, Сергей, нет никаких книжек: не читаю я их, — отвечала Катерина Львовна.

— Такая скука, — жаловался Сергей.

— Чего тебе скучать!

— Помилуйте, как не скучать: человек я молодой, живем мы словно как в монастыре каком, а вперед видишь только то, что, может быть, до гробовой доски должен пропадать в таком одиночестве. Даже отчаянье иногда приходит.

— Чего ж ты не женишься?

— Легко сказать, сударыня, жениться! На ком тут жениться? Человек я незначительный; хозяйская дочь за меня не пойдет, а по бедности все у нас, Катерина Ильвовна, вы сами изволите

знать, необразованность. Разве оне могут что об любви понимать как следует! Вот изволите видеть, какое ихнее и у богатых-то понятие. Вот вы, можно сказать, каждому другому человеку, который себя чувствует, в утешение бы только для него были, а вы у них теперь как канарейка в клетке содержитесь.

— Да, мне скучно, — сорвалось у Катерины Львовны.

— Как не скучать, сударыня, в этакой жизни! Хоша бы даже и предмет какой у вас был со стороны, так, как другие прочие делают, так вам и видеться с ним даже невозможно.

— Ну это ты… не то совсем. Мне вот, когда б я себе ребеночка бы родила, вот бы мне с ним, кажется, и весело стало.

— Да ведь это, позвольте вам доложить, сударыня, ведь и ребенок тоже от чего-нибудь тоже бывает, а не так же. Нешто теперь, по хозяевам столько лет живши и на эдакую женскую жизнь по купечеству глядючи, мы тоже не понимаем? Песня поется: «без мила дружка обуяла грусть-тоска», и эта тоска, доложу вам, Катерина Ильвовна, собственному моему сердцу столь, могу сказать, чувствительна, что вот взял бы я его вырезал булатным ножом из моей груди и бросил бы к

вашим ножкам. И легче, сто раз легче бы мне тогда было…

У Сергея задрожал голос.

— Что это ты мне тут про свое сердце сказываешь? Мне это ни к чему. Иди ты себе…

— Нет, позвольте, сударыня, — произнес Сергей, трепеща всем телом и делая шаг к Катерине Львовне. — Знаю я, вижу и очень даже чувствую и понимаю, что и вам не легче моего на свете; ну только теперь, — произнес он одним придыханием, — теперь все это состоит в эту минуту в ваших руках и в вашей власти.

— Ты чего? чего? Чего ты пришел ко мне? Я за окно брошусь, — говорила Катерина Львовна, чувствуя себя под несносною властью неописуемого страха, и схватилась рукою за подоконницу.

— Жизнь ты моя несравненная! на что тебе бросаться? — развязно прошептал Сергей и, оторвав молодую хозяйку от окна, крепко ее обнял.

— Ох! ох! пусти, — тихо стонала Катерина Львовна, слабея под горячими поцелуями Сергея, а сама мимовольно прижималась к его могучей фигуре.

Сергей поднял хозяйку, как ребенка, на руки и унес ее в темный угол.

В комнате наступило безмолвие, нарушавшееся только мерным тиканьем висевших над изголовьем кровати Катерины Львовны карманных часов ее мужа; но это ничему не мешало.

— Иди, — говорила Катерина Львовна через полчаса, не смотря на Сергея и поправляя перед маленьким зеркальцем свои разбросанные волосы.

— Чего я таперича отсюдова пойду, — отвечал ей счастливым голосом Сергей.

— Свекор двери запрет.

— Эх, душа, душа! Да каких ты это людей знала, что им только дверью к женщине и дорога? Мне что к тебе, что от тебя — везде двери, — отвечал молодец, указывая на столбы, поддерживающие галерею.

Глава четвертая

Зиновий Борисыч еще неделю не бывал домой, и всю эту неделю жена его, что ночь, до самого бела света гуляла с Сергеем.

Много было в эти ночи в спальне Зиновия Борисыча и винца из свекрового погреба попито, и сладких сластей поедено, и в сахарные хозяйкины уста поцеловано, и черными кудрями на мягком изголовье поиграно. Но не все дорога идет скатертью, бывают и перебоинки.

Не спалось Борису Тимофеичу: блуждал старик в пестрой ситцевой рубашке по тихому дому, подошел к одному окну, подошел к другому, смотрит, а по столбу из-под невесткина окна тихо-тихохонько спускается книзу красная рубаха молодца Сергея. Вот тебе и новость! Выскочил Борис Тимофеич и хвать молодца за ноги. Тот развернулся было, чтоб съездить хозяина от всего сердца по уху, да и остановился, рассудив, что шум выйдет.

— Сказывай, — говорит Борис Тимофеич, — где был, вор ты эдакой?

— А где был, — говорит, — там меня, Борис Тимофеич, сударь, уж нету, — отвечал Сергей.

— У невестки ночевал?

— Про то, хозяин, опять-таки я знаю, где ночевал; а ты вот что, Борис Тимофеич, ты моего слова послушай: что, отец, было, того назад не воротишь; не клади ж ты по крайности позору на свой купеческий дом. Сказывай, чего ты от меня теперь хочешь? Какого ублаготворения желаешь?

— Желаю я тебе, аспиду*, пятьсот плетей закатить, — отвечал Борис Тимофеич.

— Моя вина — твоя воля, — согласился молодец. — Говори, куда идти за тобой, и тешься, пей мою кровь.

Повел Борис Тимофеич Сергея в свою каменную кладовеньку, и стегал он его нагайкою, пока сам из сил выбился. Сергей ни стона не подал, но зато половину рукава у своей рубашки зубами изъел.

Бросил Борис Тимофеич Сергея в кладовой, пока взбитая в чугун спина заживет; сунул он ему глиняный кувшин водицы, запер его большим замком и послал за сыном. Но за сто верст* на Руси по проселочным дорогам еще и теперь не скоро ездят, а Катерине Львовне без Сергея и час лишний пережить уже невмоготу стало. Развернулась она вдруг во всю ширь своей проснувшейся натуры и такая стала решительная, что и унять ее

нельзя. Проведала она, где Сергей, поговорила с ним через железную дверь и кинулась ключей искать. «Пусти, тятенька, Сергея», — пришла она к свекру.

Старик так и позеленел. Он никак не ожидал такой наглой дерзости от согрешившей, но всегда до сих пор покорной невестки.

— Что ты это, такая-сякая, — начал он срамить Катерину Львовну.

— Пусти, — говорит, — я тебе совестью заручаюсь, что еще худого промеж нас ничего не было.

— Худого, — говорит, — не было! — а сам зубами так и скрипит. — А чем вы там с ним по ночам займались? Подушки мужнины перебивали?

А та все с своим пристает: пусти его да пусти.

— А коли так, — говорит Борис Тимофеич, — так вот же тебе: муж приедет, мы тебя, честную жену, своими руками на конюшне выдерем, а его, подлеца, я завтра же в острог отправлю.

Тем Борис Тимофеич и порешил; но только это решение его не состоялось.

Глава пятая

Поел Борис Тимофеич на ночь грибков с кашицей, и началась у него изжога; вдруг схватило его под ложечкой; рвоты страшные поднялись, и к утру он умер, и как раз так, как умирали у него в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда своими собственными руками приготовляла особое кушанье с порученным ее хранению опасным белым порошком.

Выручила Катерина Львовна своего Сергея из стариковской каменной кладовой и без всякого зазора от людских очей уложила его отдыхать от свекровых побоев на мужниной постели; а свекра, Бориса Тимофеича, ничтоже сумняся, схоронили по закону христианскому. Дивным делом никому и невдомек ничего стало: умер Борис Тимофеич, да и умер, поевши грибков, как многие, поевши их, умирают. Схоронили Бориса Тимофеича спешно, даже и сына не дождавшись, потому что время стояло на дворе теплое, а Зиновия Борисыча посланный не застал на мельнице. Тому лес случайно как-то дешево попался еще верст за сто: посмотреть его поехал и никому путем не объяснил, куда поехал.

Справившись с этим делом, Катерина Львовна уж совсем разошлась. То она была баба неробкого десятка, а тут и нельзя было разгадать, что такое она себе задумала; ходит козырем, всем по дому распоряжается, а Сергея так от себя и не отпускает. Задивились было этому по двору, да Катерина Львовна всякого сумела найти своей щедрой рукой, и все это дивованье вдруг сразу прошло. «Зашла, — смекали, — у хозяйки с Сергеем алигория, да и только. Ее, мол, это дело, ее и ответ будет».

А тем временем Сергей выздоровел, разогнулся и опять молодец молодцом, живым кречетом заходил около Катерины Львовны, и опять пошло у них снова житье разлюбезное. Но время катилось не для них одних: спешил домой из долгой отлучки и обиженный муж Зиновий Борисыч.

Глава шестая

На дворе после обеда стоял пёклый жар, и проворная муха несносно докучала. Катерина Львовна закрыла окно в спальне ставнями и еще шерстяным платком его изнутри завесила, да и легла с Сергеем отдохнуть на высокой купеческой постели. Спит и не спит Катерина Львовна, а только так ее и омаривает, так лицо потом и обливается, и дышится ей таково горячо и тягостно. Чувствует Катерина Львовна, что пора ей и проснуться; пора идти в сад чай пить, а встать никак не может. Наконец кухарка подошла и в дверь постучала: «Самовар, — говорит, — под яблонью глохнет». Катерина Львовна насилу прокинулась и ну кота ласкать. А кот промежду ее с Сергеем трется, такой славный, серый, рослый да претолстющий-толстый… и усы как у оброчного бурмистра. Катерина Львовна заворошилась в его пушистой шерсти, а он так к ней с рылом и лезет: тычется тупой мордой в упругую грудь, а сам такую тихонькую песню поет, будто ею про любовь рассказывает. «И чего еще сюда этот котище зашел? — думает

Катерина Львовна. — Сливки тут-то я на окне

поставила: беспременно он, подлый, у меня их вылопает. Выгнать его», — решила она и хотела схватить кота и выбросить, а он, как туман, так мимо пальцев у нее и проходит. «Однако откуда же этот кот у нас взялся? — рассуждает в кошмаре Катерина Львовна. — Никогда у нас в спальне никакого кота не было, а тут ишь какой забрался!» Хотела она опять кота рукой взять, а его опять нет. «О, да что ж это такое? Уж это, полно, кот ли?» — подумала Катерина Львовна. Оторопь ее вдруг взяла и сон, и дрему совсем от нее прогнала. Оглянулась Катерина Львовна по горнице — никакого кота нет, лежит только красивый Сергей и своей могучей рукой ее грудь к своему горячему лицу прижимает.

Встала Катерина Львовна, села на постель, целовала, целовала Сергея, миловала, миловала его, поправила измятую перину и пошла в сад чай пить; а солнце уже совсем свалило, и на горячо прогретую землю спускается чудный, волшебный вечер.

— Заспалась я, — говорила Аксинье Катерина Львовна и уселась на ковре под цветущею яблонью чай пить. — И что это такое, Аксиньюшка, значит? — пытала она кухарку, вытирая сама чайным полотенцем блюдечко.

— Что, матушка?

— Не то что во сне, а вот совсем вот наяву кот ко мне все какой-то лез.

— И, что ты это?

— Право, кот лез.

Катерина Львовна рассказала, как к ней лез кот.

— И зачем тебе его было ласкать?

— Ну вот поди ж! сама не знаю, зачем я его ласкала.

— Чудно, право! — восклицала кухарка.

— Я и сама надивиться не могу.

— Это беспременно вроде как к тебе кто-нибудь прибьется, что ли, либо еще что-нибудь такое выйдет.

— Да что ж такое именно?

— Ну *именно что* — уж этого тебе никто, милый друг, объяснить не может, что именно, а только что-нибудь да будет.

— Месяц все во сне видела, а потом этот кот, — продолжала Катерина Львовна.

— Месяц это младенец.

Катерина Львовна покраснела.

— Не спосылать ли сюда к твоей милости Сергея? — попытала ее напрашивающаяся в наперсницы Аксинья.

— Ну что ж, — отвечала Катерина Львовна, — и то правда, поди пошли его: я его чаем тут напою.

— То-то, я говорю, что послать его, — порешила Аксинья и закачалась уткою к садовой калитке.

Катерина Львовна и Сергею про кота рассказала.

— Мечтанье одно, — отвечал Сергей.

— С чего ж его, этого мечтанья, прежде, Сережа, никогда не было?

— Мало чего прежде не бывало! бывало, вон я на тебя только глазком гляжу да сохну, а нонче вона! Всем твоим белым телом владею.

Сергей обнял Катерину Львовну, перекружил на воздухе и, шутя, бросил ее на пушистый ковер.

— Ух, голова закружилась, — заговорила Катерина Львовна. — Сережа! поди-ка сюда; сядь тут возле, — позвала она, нежась и потягиваясь в роскошной позе.

Молодец, нагнувшись, вошел под низкую яблонь, залитую белыми цветами, и сел на ковре в ногах у Катерины Львовны.

— А ты сох же по мне, Сережа?

— Как же не сох.

— Как же ты сох? Расскажи мне про это.

— Да как про это расскажешь? Разве можно про

это изъяснить, как сохнешь? Тосковал.

— Отчего ж я этого, Сережа, не чувствовала, что ты по мне убиваешься? Это ведь, говорят, чувствуют.

Сергей промолчал.

— А ты для чего песни пел, если тебе по мне скучно было? что? Я ведь небось слыхала, как ты на галдарее пел, — продолжала спрашивать, ласкаясь, Катерина Львовна.

— Что ж, что песни пел? Комар вон и весь свой век поет, да ведь не с радости, — отвечал сухо Сергей.

Вышла пауза. Катерина Львовна была полна высочайшего восторга от этих признаний Сергея.

Ей хотелось говорить, а Сергей супился и молчал.

— Посмотри, Сережа, рай-то, рай-то какой! — воскликнула Катерина Львовна, смотря сквозь покрывающие ее густые ветви цветущей яблони на чистое голубое небо, на котором стоял полный погожий месяц.

Лунный свет, пробиваясь сквозь листья и цветы яблони, самыми причудливыми, светлыми пятнышками разбегался по лицу и всей фигуре лежавшей навзничь Катерины Львовны; в воздухе

стояло тихо; только легонький теплый ветерочек чуть пошевеливал сонные листья и разносил тонкий аромат цветущих трав и деревьев. Дышалось чем-то томящим, располагающим к лени, к неге и к темным желаниям.

Катерина Львовна, не получая ответа, опять замолчала и все смотрела сквозь бледно-розовые цветы яблони на небо. Сергей тоже молчал; только его не занимало небо. Обхватив обеими руками свои колени, он сосредоточенно глядел на свои сапожки.

Золотая ночь! Тишина, свет, аромат и благотворная, оживляющая теплота. Далеко за оврагом, позади сада, кто-то завел звучную песню; под забором в густом черемушнике щелкнул и громко заколотил соловей; в клетке на высоком шесте забредил сонный перепел, и жирная лошадь томно вздохнула за стенкой конюшни, а по выгону за садовым забором пронеслась без всякого шума веселая стая собак и исчезла в безобразной, черной тени полуразвалившихся, старых соляных магазинов.

Катерина Львовна приподнялась на локоть и глянула на высокую садовую траву; а трава так и играет с лунным блеском, дробящимся о цветы и листья деревьев. Всю ее позолотили эти

прихотливые, светлые пятнышки и так на ней и мелькают, так и трепещутся, словно живые огненные бабочки, или как будто вот вся трава под деревьями взялась лунной сеткой и ходит из стороны в сторону.

— Ах, Сережечка, прелесть-то какая! — воскликнула, оглядевшись, Катерина Львовна.

Сергей равнодушно повел глазами.

— Что ты это, Сережа, такой нерадостный? Или уж тебе и любовь моя прискучила?

— Что пустое говорить! — отвечал сухо Сергей и, нагнувшись, лениво поцеловал Катерину Львовну.

— Изменщик ты, Сережа, — ревновала Катерина Львовна, — необстоятельный.

— Я даже этих и слов на свой счет не принимаю, — отвечал спокойным тоном Сергей.

— Что ж ты меня так целуешь?

Сергей совсем промолчал.

— Это только мужья с женами, — продолжала, играя его кудрями, Катерина Львовна, — так друг дружке с губ пыль обивают. Ты меня так целуй, чтоб вот с этой яблони, что над нами, молодой цвет на землю посыпался. Вот так, вот, — шептала Катерина Львовна, обвиваясь около любовника и целуя его с страстным увлечением.

— Слушай, Сережа, что я тебе скажу, — начала Катерина Львовна спустя малое время, — с чего это все в одно слово про тебя говорят, что ты изменщик?

— Кому ж это про меня брехать охота?

— Ну уж говорят люди.

— Может быть, когда и изменял тем, какие совсем нестоящие.

— А на что, дурак, с нестоящими связывался? с нестоящею не надо и любви иметь.

— Говори ж ты! Неш это дело тоже как по рассуждению делается? Один соблаз действует. Ты *с* нею совсем просто, без всяких этих намерений заповедь свою преступил, а она уж и на шею тебе вешается. Вот и любовь!

— Слушай же, Сережа! я там, как другие прочие были, ничего этого не знаю, да и знать про это не хочу; ну а только как ты меня на эту теперешнюю нашу любовь сам улещал и сам знаешь, что сколько я пошла на нее своею охотою, столько ж и твоей хитростью, так ежели ты, Сережа, мне да изменишь, ежели меня да на кого да нибудь, на какую ни на есть иную променяешь, я с тобою, друг мой сердечный, извини меня, — живая не расстанусь.

Сергей встрепенулся.

— Да верь, Катерина Ильвовна! свет ты мой ясный! — заговорил он. — Ты сама посмотри, какое наше с тобою дело. Ты вон так теперь замечаешь, что я задумчив нонче, а не рассудишь ты того, как мне и задумчивым не быть. У меня, может, все сердце мое в запеченной крови затонуло!

— Говори, говори, Сережа, свое горе.

— Да что тут и говорить! Вот сейчас, вот первое дело, благослови Господи, муж твой наедет, а ты, Сергей Филипыч, и ступай прочь, отправляйся на задний двор к музыкантам и смотри из-под сарая, как у Катерины Ильвовны в спальне свеченька горит, да как она пуховую постельку перебивает, да с своим законным Зиновием с Борисычем опочивать укладывается.

— Этого не будет! — весело протянула Катерина Львовна и махнула ручкой.

— Как так этого не будет! А я так понимаю, что совсем даже без этого вам невозможно. А я тоже, Катерина Ильвовна, свое сердце имею и могу свои муки видеть.

— Да ну, полно тебе все об этом.

Катерине Львовне было приятно это выражение Сергеевой ревности, и она, рассмеявшись, опять взялась за свои поцелуи.

— А повторительно, — продолжал Сергей, ти-

хонько высвобаживая свою голову из голых по плечи рук Катерины Львовны, — повторительно надо сказать и то, что состояние мое самое ничтожное тоже заставляет, может, не раз и не десять раз рассудить и так и иначе. Будь я, так скажу, равный вам, будь я какой барин или купец, я бы то есть с вами, Катерина Ильвовна, и ни в жизнь мою не расстался. Ну а так сами вы посудите, что я за человек при вас есть? Видючи теперь, как возьмут вас за белые ручки и поведут в опочивальню, должен я все это переносить в моем сердце и, может, даже сам для себя чрез то на целый век презренным человеком сделаться. Катерина Ильвовна! Я ведь не как другие прочие, для которого все равно, абы ему от женчины только радость получить. Я чувствую, какова есть любовь и как она черной змеею сосет мое сердце…

— Что ты это мне все про такое толкуешь? — перебила его Катерина Львовна.

Ей стало жаль Сергея.

— Катерина Ильвовна! Как про это не толковать-то? Как не толковать-то? Когда, может, все уж им объяснено и расписано, когда, может, не только что в каком-нибудь долгом расстоянии, а даже самого завтрашнего числа Сергея здесь ни

духу, ни паху на этом дворе не останется?

— Нет, нет, и не говори про это, Сережа! Этого ни за что не будет, чтоб я без тебя осталась, — успокоивала его все с теми же ласками Катерина Львовна. — Если только пойдет на что дело… либо ему, либо мне не жить, а уж ты со мной будешь.

— Никак этого не может, Катерина Ильвовна, последовать, — отвечал Сергей, печально и грустно качая своею головою. — Я жизни моей не рад сам за этой любовью. Любил бы то, что не больше самого меня стоит, тем бы и доволен был. Вас ли мне с собою в постоянной любви иметь? Нешто это вам почет какой — полюбовницей быть? Я б хотел пред святым предвечным храмом мужем вам быть: так тогда я, хоть завсегда млаже себя перед вами считая, все-таки мог бы по крайности публично всем обличить, сколь я у своей жены почтением своим к ней заслуживаю…

Катерина Львовна была отуманена этими словами Сергея, этою его ревностью, этим его желанием жениться на ней — желанием, всегда приятным женщине, несмотря на самую короткую связь ее с человеком до женитьбы. Катерина Львовна теперь готова была за Сергея в огонь, в воду, в темницу и на крест. Он влюбил ее в себя до того, что меры ее преданности ему не было

никакой. Она обезумела от своего счастия; кровь ее кипела, и она не могла более ничего слушать. Она быстро зажала ладонью Сергеевы губы и, прижав к груди своей его голову, заговорила:

— Ну, уж я знаю, как я тебя и купцом сделаю и жить с тобою совсем как следует стану. Ты только не печаль меня попусту, пока еще дело наше не пришло до нас.

И опять пошли поцелуи да ласки.

Старому приказчику, спавшему в сарае, сквозь крепкий сон стал слышаться в ночной тишине то шепот с тихим смехом, будто где шаловливые дети советуются, как злее над хилою старостью посмеяться; то хохот звонкий и веселый, словно кого озорные русалки щекочут. Все это, плескаясь в лунном свете да покатываясь по мягкому ковру, резвилась и играла Катерина Львовна с молодым мужниным приказчиком. Сыпался, сыпался на них молодой белый цвет с кудрявой яблонки, да уж и перестал сыпаться. А тем временем короткая летняя ночь проходила, луна спряталась за крутую крышу высоких амбаров и глядела на землю искоса, тусклее и тусклее; с кухонной крыши раздался пронзительный кошачий дуэт; потом послышались плевок, сердитое фырканье, и вслед за тем два или три кота, оборвавшись, с

шумом покатились по приставленному к крыше пуку теса.

— Пойдем спать, — сказала Катерина Львовна медленно, словно разбитая, приподнимаясь с ковра, и как лежала в одной рубашке да в белых юбках, так и пошла по тихому, до мертвенности тихому купеческому двору, а Сергей понес за нею коверчик и блузу, которую она, расшалившись, сбросила.

Глава седьмая

Только Катерина Львовна задула свечу и совсем раздетая улеглась на мягкий пуховик, сон так и окутал ее голову. Заснула Катерина Львовна, наигравшись и натешившись, так крепко, что и нога ее спит и рука спит; но опять слышит она сквозь сон, будто опять дверь отворилась и на постель тяжелым осметком упал давешний кот.

— Да что же это в самом деле за наказание с этим котом? — рассуждает усталая Катерина Львовна. — Дверь теперь уж нарочно я сама, своими руками на ключ заперла, окно закрыто, а он опять тут. Сейчас его выкину, — собиралась встать Катерина Львовна, да сонные руки и ноги ее не служат ей; а кот ходит по всей по ней и таково-то мудрено курнычит, опять будто слова человеческие выговаривает. По Катерине Львовне по всей даже мурашки стали бегать.

«Нет, — думает она, — больше ничего, как непременно завтра надо богоявленской воды взять на кровать, потому что премудреный какой-то этот кот ко мне повадился».

А кот курны-мурны у нее над ухом, уткнулся мордою да и выговаривает: «Какой же, — гово-

рит, — я кот! С какой стати! Ты это очень умно, Катерина Львовна, рассуждаешь, что совсем я не кот, а я именитый купец Борис Тимофеич. Я только тем теперь плох стал, что у меня все мои кишечки внутри потрескались от невестушкиного от угощения. С того, — мурлычит, — я весь вот и поубавился и котом теперь показываюсь тому, кто мало обо мне разумеет, что я такое есть в самом деле. Ну, как же нонче ты у нас живешь-можешь, Катерина Львовна? Как свой закон верно соблюдаешь? Я и с кладбища нарочно пришел поглядеть, как вы с Сергеем Филипычем мужнину постельку согреваете. Курны-мурны, я ведь ничего не вижу. Ты меня не бойся: у меня, видишь, от твоего угощения и глазки повылезли. Глянь мне в глаза-то, дружок, не бойся!»

Катерина Львовна глянула и закричала благим матом. Между ней и Сергеем опять лежит кот, а голова у того кота Бориса Тимофеича во всю величину, как была у покойника, и вместо глаз по огненному кружку в разные стороны так и вертится, так и вертится!

Проснулся Сергей, успокоил Катерину Львовну и опять заснул; но у нее весь сон прошел — и кстати.

Лежит она с открытыми глазами и вдруг

слышит, что на двор будто кто-то через ворота перелез. Вот и собаки метнулись было, да и стихли, — должно быть, ласкаться стали. Вот и еще прошла минута, и железная клямка внизу щелкнула, и дверь отворилась. «Либо мне все это слышится, либо это мой Зиновий Борисыч вернулся, потому что дверь его запасным ключом отперта», — подумала Катерина Львовна и торопливо толкнула Сергея.

— Слушай, Сережа, — сказала она и сама приподнялась на локоть и насторожила ухо.

По лестнице тихо, с ноги на ногу осторожно переступаючи, действительно кто-то приближался к запертой двери спальни.

Катерина Львовна быстро спрыгнула в одной рубашке с постели и открыла окошко. Сергей в ту же минуту босиком выпрыгнул на галерею и обхватил ногами столб, по которому не первый раз спускался из хозяйкиной спальни.

— Нет, не надо, не надо! Ты приляг тут… не отходи далеко, — прошептала Катерина Львовна и выкинула Сергею за окно его обувь и одежду, а сама опять юркнула под одеяло и дожидается.

Сергей послушался Катерины Львовны: он не шмыгнул по столбу вниз, а приютился под лубком на галереечке.

Катерина Львовна тем временем слышит, как муж подошел к двери и, утаивая дыхание, слушает. Ей даже слышно, как учащенно стукает его ревнивое сердце; но не жалость, а злой смех разбирает Катерину Львовну.

«Ищи вчерашнего дня», — думает она себе, улыбаясь и дыша непорочным младенцем.

Это продолжалось минут десять; но, наконец, Зиновию Борисычу надоело стоять за дверью да слушать, как жена спит: он постучался.

— Кто там? — не совсем скоро и будто как сонным голосом окликнула Катерина Львовна.

— Свои, — отозвался Зиновий Борисыч.

— Это ты, Зиновий Борисыч?

— Ну я! Будто ты не слышишь!

Катерина Львовна вскочила как лежала в одной рубашке, впустила мужа в горницу и опять нырнула в теплую постель.

— Чтой-то перед зарей холодно становится, — произнесла она, укутываясь одеялом.

Зиновий Борисыч взошел озираясь, помолился, зажег свечу и еще огляделся.

— Как живешь-можешь? — спросил он супругу.

— Ничего, — отвечала Катерина Львовна и, привставая, начала надевать распашную ситцевую

блузу. — Самовар небось поставить? — спросила она.

— Ничего, вскричите Аксинью, пусть поставит.

Катерина Львовна нахватила на босу ногу башмачки и выбежала. С полчаса ее назад не было.

В это время она сама раздула самоварчик и тихонько запорхнула к Сергею на галерейку.

— Сиди тут, — шепнула она.

— Докуда же сидеть? — также шепотом спросил Сережа.

— О, да какой же ты бестолковый! Сиди, докуда я скажу.

И Катерина Львовна сама посадила его на старое место.

А Сергею отсюда, с галереи, все слышно, что в спальне происходит. Он слышит опять, как стукнула дверь и Катерина Львовна снова взошла к мужу. Все от слова до слова слышно.

— Что ты там возилась долго? — спрашивает жену Зиновий Борисыч.

— Самовар ставила, — отвечает она спокойно.

Вышла пауза. Сергею слышно, как Зиновий Борисыч вешает на вешалку свой сюртук. Вот он умывается, фыркает и брызжет во все стороны водою; вот спросил полотенце; опять начина-

ются речи.

— Ну как же это вы тятеньку схоронили? — осведомляется муж.

— Так, — говорит жена, — они померли, их и схоронили.

— И что это за удивительность такая!

— Бог его знает, — отвечала Катерина Львовна и застучала чашками.

Зиновий Борисыч грустный ходил по комнате.

— Ну а вы тут как свое время провождали? — расспрашивает опять жену Зиновий Борисыч.

— Наши радости-то, чай, всякому известны: по балам не ездим и по тиатрам столько ж.

— А словно радости-то у вас и к мужу немного, — искоса поглядывая, заводил Зиновий Борисыч.

— Не молоденькие тоже мы с вами, чтоб так без ума, без разума нам встречаться. Как еще радоваться? Я вот хлопочу, бегаю для вашего удовольствия.

Катерина Львовна опять выбежала самовар взять и опять заскочила к Сергею, дернула его и говорит: «Не зевай, Сережа!»

Сергей путем не знал, к чему все это будет, но, однако, стал наготове.

Вернулась Катерина Львовна, а Зиновий Бо-

рисыч стоит коленями на постели и вешает на стенку над изголовьем свои серебряные часы с бисерным снурочком.

— Для чего это вы, Катерина Львовна, в одиноком положении постель надвое разостлали? — как-то мудрено вдруг спросил он жену.

— А вас все дожидала, — спокойно глядя на него, ответила Катерина Львовна.

— И на том благодарим вас покорно… А вот этот предмет теперь откуда у вас на перинке взялся?

Зиновий Борисыч поднял с простыни маленький шерстяной поясочек Сергея и держал его за кончик перед жениными глазами.

Катерина Львовна нимало не задумалась.

— В саду, — говорит, — нашла да юбку себе подвязала.

— Да! — произнес с особым ударением Зиновий Борисыч, — мы тоже про ваши про юбки кое-что слыхали.

— Что ж это вы слыхали?

— Да всё про дела ваши про хорошие.

— Никаких моих дел таких нету.

— Ну, это мы разберем, все разберем, — отвечал, подвигая жене выпитую чашку, Зиновий Борисыч.

Катерина Львовна промолчала.

— Мы эти ваши дела, Катерина Львовна, все въявь произведем, — проговорил еще после долгой паузы Зиновий Борисыч, поведя на свою жену бровями.

— Не больно-то ваша Катерина Львовна пужлива. Не так очень она этого пужается, — ответила та.

— Что! что! — повыся голос, окрикнул Зиновий Борисыч.

— Ничего — проехали, — отвечала жена.

— Ну, ты гляди у меня того! Что-то ты больно речиста здесь стала!

— А с чего мне и речистой не быть? — отозвалась Катерина Львовна.

— Больше бы за собой смотрела.

— Нечего мне за собой смотреть. Мало кто вам длинным языком чего наязычит, а я должна над собой всякие наругательства сносить! Вот еще новости тоже!

— Не длинные языки, а тут верно про ваши амуры-то известно.

— Про какие-такие мои амуры? — крикнула, непритворно вспыхнув, Катерина Львовна.

— Знаю я, про какие.

— А знаете, так что ж: вы яснее сказывайте!

Зиновий Борисыч промолчал и опять подвинул

жене пустую чашку.



— Видно, и говорить-то не про что, — отозвалась с презрением Катерина Львовна, азартно бросив на блюдце мужу чайную ложечку. — Ну сказывайте, ну про кого вам доносили? кто такой есть мой перед вами полюбовник?

— Узнаете, не спешите очень.

— Что вам про Сергея, что ли, что-нибудь набрехано?

— Узнаем-с, узнаем, Катерина Львовна. Нашей над вами власти никто не снимал и снять никто не может… Сами заговорите…

— И-их! терпеть я этого не могу, — скрипнув зубами, вскрикнула Катерина Львовна и, побледнев как полотно, неожиданно выскочила за двери.

— Ну вот он, — произнесла она через несколько секунд, вводя в комнату за рукав Сергея. — Расспрашивайте и его, и меня, что вы такое знаете. Может, что-нибудь еще и больше того узнаешь, что тебе хочется?

Зиновий Борисыч даже растерялся. Он глядел то на стоявшего у притолоки Сергея, то на жену, спокойно присевшую со скрещенными руками на краю постели, и ничего не понимал, к чему это близится.

— Что ты это, змея, делаешь? — насилу собрался он выговорить, не поднимаясь с кресла.

— Расспрашивай, о чем так знаешь-то хорошо, — отвечала дерзко Катерина Львовна. — Ты меня бойлом задумал пужать, — продолжала она, значительно моргнув глазами, — так не бывать же тому никогда; а что я, может, и допреж твоих этих обещаниев знала, что́ над тобой сделать, так я то сделаю.

— Что это? вон! — крикнул Зиновий Борисыч на Сергея.

— Как же! — передразнила Катерина Львовна.

Она проворно замкнула дверь, сунула ключ в карман и опять привалилась на постели в своей распашонке.

— Ну-ка, Сережечка, поди-ка, поди, голубчик, — поманила она к себе приказчика.

Сергей тряхнул кудрями и смело присел около хозяйки.

— Господи! Боже мой! Да что ж это такое? Что ж вы это, варвары?! — вскрикнул, весь побагровев и поднимаясь с кресла, Зиновий Борисыч.

— Что? Иль не любо? Глянь-ко, глянь, мой ясмен сокол, каково прекрасно!

Катерина Львовна засмеялась и страстно поцеловала Сергея при муже.

В это же мгновение на щеке ее запылала оглушительная пощечина, и Зиновий Борисыч

кинулся к открытому окошку.

Глава восьмая

— А… а, так-то!.. ну, приятель дорогой, благодарствуй. Я этого только и дожидалась! — вскрикнула Катерина Львовна. — Ну теперь видно уж, будь же по-моему, а не по-твоему…

Одним движением она отбросила от себя Сергея, быстро кинулась на мужа и, прежде чем Зиновий Борисыч успел доскочить до окна, схватила его сзади своими тонкими пальцами за горло и, как сырой конопляный сноп, бросила его на пол.

Тяжело громыхнувшись и стукнувшись со всего размаху затылком об пол, Зиновий Борисыч совсем обезумел. Он никак не ожидал такой скорой развязки. Первое насилие, употребленное против него женою, показало ему, что она решилась на все, лишь бы только от него избавиться, и что теперешнее его положение до крайности опасно. Зиновий Борисыч сообразил все это мигом в момент своего падения и не вскрикнул, зная, что голос его не достигнет ни до чьего уха, а только еще ускорит дело. Он молча повел глазами и остановил их с выражением злобы, упрека и страдания на жене, тонкие пальцы которой крепко

сжимали его горло.

Зиновий Борисыч не защищался; руки его, с крепко стиснутыми кулаками, лежали вытянутыми и судорожно подергивались. Одна из них была вовсе свободна, другую Катерина Львовна придавила к полу коленом.

— Подержи его, — шепнула она равнодушно Сергею, сама поворачиваясь к мужу.

Сергей сел на хозяина, придавил обе его руки коленами и хотел перехватить под руками Катерины Львовны за горло, но в это же мгновение сам отчаянно вскрикнул. При виде своего обидчика кровавая месть приподняла в Зиновии Борисыче все последние его силы: он страшно рванулся, выдернул из-под Сергеевых колен свои придавленные руки и, вцепившись ими в черные кудри Сергея, как зверь, закусил зубами его горло. Но это было ненадолго: Зиновий Борисыч тотчас же тяжело застонал и уронил голову.

Катерина Львовна, бледная, почти не дыша вовсе, стояла над мужем и любовником; в ее правой руке был тяжелый литой подсвечник, который она держала за верхний конец, тяжелою частью книзу. По виску и щеке Зиновия Борисыча тоненьким шнурочком бежала алая кровь.

— Попа… — тупо простонал Зиновий Борисыч,

с омерзением откидываясь головою как можно далее от сидящего на нем Сергея. — Исповедаться, — произнес он еще невнятнее, задрожав и косясь на сгущающуюся под волосами теплую кровь.

— Хорош и так будешь, — прошептала Катерина Львовна.

— Ну полно с ним копаться, — сказала она Сергею, — перехвати ему хорошенько горло.

Зиновий Борисыч захрипел.

Катерина Львовна нагнулась, сдавила своими руками Сергеевы руки, лежавшие на мужнином горле, и ухом прилегла к его груди. Через пять тихих минут она приподнялась и сказала: «Довольно, будет с него».

Сергей тоже встал и отдулся. Зиновий Борисыч лежал мертвый, с передавленным горлом и рассеченным виском. Под головой с левой стороны стояло небольшое пятнышко крови, которая, однако, более уже не лилась из запекшейся и завалявшейся волосами ранки.

Сергей снес Зиновия Борисыча в погребок, устроенный в подполье той же каменной кладовой, куда еще так недавно запирал самого его, Сергея, покойный Борис Тимофеич, и вернулся на вышку. В это время Катерина Львовна, за-

сучив рукава распашонки и высоко подоткнув подол, тщательно замывала мочалкою с мылом кровавое пятно, оставленное Зиновием Борисычем на полу своей опочивальни. Вода еще не остыла в самоваре, из которого Зиновий Борисыч распаривал отравленным чаем свою хозяйскую душеньку, и пятно вымылось без всякого следа.

Катерина Львовна взяла медную полоскательную чашку и намыленную мочалку.

— Ну-ка, свети, — сказала она Сергею, идучи к двери. — Ниже, ниже свети, — говорила она, внимательно осматривая все половицы, по которым Сергей должен был тащить Зиновия Борисыча до самой ямы.

Только на двух местах на крашеном полу были два крошечные пятнышка величиною в вишню. Катерина Львовна потерла их мочалкою, и они исчезли.

— Вот тебе, не лазь к жене вором, не подкарауливай, — произнесла Катерина Львовна, распрямляясь и оглянувшись в сторону кладовой.

— Теперь шабаш, — сказал Сергей и вздрогнул от звука собственного голоса.

Когда они вернулись в спальню, тонкая румяная полоска зари прорезывалась на востоке и,

золотя легонько одетые цветом яблони, заглядывала сквозь зеленые палки садовой решетки в комнату Катерины Львовны.

По двору, в накинутом на плечи полушубке, крестясь и позевывая, плелся из сарая в кухню старый приказчик.

Катерина Львовна осторожно дернула ходившую на веревочке ставню и внимательно оглянула Сергея, как бы желая прозреть его душу.

— Ну вот ты теперь и купец, — сказала она, положив Сергею на плечи свои белые руки.

Сергей ничего ей не ответил.

Губы Сергея дрожали, и самого его била лихорадка. У Катерины Львовны только уста были холодны.

Через два дня у Сергея на руках явились большие мозоли от лома и тяжелого заступа; зато уж Зиновий Борисыч в своем погребке был так хорошо прибран, что без помощи его вдовы или ее любовника не отыскать бы его никому до общего воскресения.

Глава девятая

Сергей ходил, замотав горло пунсовым* платком, и жаловался, что у него что-то завалило горло. Между тем, прежде чем у Сергея зажили метины, положенные зубами Зиновия Борисыча, мужа Катерины Львовны хватились. Сам Сергей еще чаще прочих начал про него поговаривать. Присядет вечерком с молодцами на лавку около калитки и заведет: «Чтой-то, однако, исправди, ребята, нашего хозяина по сю пору нетути?»

Молодцы тоже дивуются.

А тут с мельницы пришло известие, что хозяин нанял коней и давно отъехал ко двору. Ямщик, который его возил, сказывал, что Зиновий Борисыч был будто в расстройстве и отпустил его как-то чудно: не доезжая до города версты с три, встал под монастырем с телеги, взял кису* и пошел. Услыхав такой рассказ, и еще пуще все вздивовались.

Пропал Зиновий Борисыч, да и только.

Пошли розыски, но ничего не открывалось: купец как в воду канул. По показанию арестованного ямщика узнали только, что над рекою под монастырем купец встал и пошел. Дело не

выяснилось, а тем временем Катерина Львовна поживала себе с Сергеем, по вдовьему положению, на свободе. Сочиняли наугад, что Зиновий Борисыч то там, то там, а Зиновий Борисыч все не возвращался, и Катерина Львовна лучше всех знала, что возвратиться ему никак невозможно.

Прошел так и месяц, и другой, и третий, и Катерина Львовна почувствовала себя в тягости.

— Наш капитал будет, Сережечка: есть у меня наследник, — сказала она Сергею и пошла жаловаться Думе, что так и так, она чувствует себя, что — беременна, а в делах застой начался: пусть ее ко всему допустят.

Не пропадать же коммерческому делу. Катерина Львовна жена своему мужу законная; долгов в виду нет, ну и следует, стало быть, допустить ее. И допустили.

Живет Катерина Львовна, царствует, и Серегу по ней уж Сергеем Филипычем стали звать; а тут хлоп, ни оттуда ни отсюда, новая напасть. Пишут из Ливен городскому голове*, что Борис Тимофеич торговал не на весь свой капитал, что более, чем его собственных денег, у него в обороте было денег его малолетнего племянника, Федора Захарова Лямина, и что дело это надо разобрать и не давать в руки одной Катерине Львовне. Пришло

это известие, поговорил о нем голова Катерине Львовне, а эдак через неделю бац — из Ливен приезжает старушка с небольшим мальчиком.

— Я, — говорит, — покойному Борису Тимофеичу сестра двоюродная, а это — мой племянник Федор Лямин.

Катерина Львовна их приняла.

Сергей, наблюдая со двора этот приезд и прием, сделанный Катериною Львовною приезжим, побледнел как плат.

— Чего ты? — спросила его хозяйка, заметив его мертвую бледность, когда он вошел вслед за приезжими и, разглядывая их, остановился в передней.

— Ничего, — отвечал, поворачиваясь из передней в сени, приказчик. — Думаю, сколь эти Ливны дивны, — договорил он со вздохом, затворяя за собой сеничную дверь.

— Ну а как же теперь быть? — спрашивал Катерину Львовну Сергей Филипыч, сидя с нею ночью за самоваром. — Теперь, Катерина Ильвовна, выходит, всё наше с вами дело прах.

— Отчего так прах, Сережа?

— Потому что это все теперь в раздел пойдет. Над чем же тут над пустым делом будет хозяйничать?

— Неш с тебя, Сережа, мало будет?

— Да не о том, что с меня; а я в тем только сумлеваюсь, что счастья уж того нам не будет.

— Как так? За что нам, Сережа, счастья не будет?

— Потому, как по любви моей к вам я желал бы, Катерина Ильвовна, видеть вас настоящей дамой, а не то что как вы допреж сего жили, — отвечал Сергей Филипыч. — А теперь наоборот того выходит, что при уменьшении капитала мы и даже против прежнего должны гораздо ниже еще произойти.

— Да неш мне это, Сережечка, нужно?

— Оно точно, Катерина Ильвовна, что вам, может быть, это и совсем не в интересе, ну только для меня, как я вас уважаю, и опять же супротив людских глаз, подлых и завистливых, ужасно это будет больно. Вам там как будет угодно, разумеется, а я так своим соображением располагаю, что никогда я через эти обстоятельства счастлив быть не могу.

И пошел, и пошел Сергей играть Катерине Львовне на эту ноту, что стал он через Федю Лямина самым несчастным человеком, лишен будучи возможности возвеличить и отличить ее, Катерину Львовну, предо всем своим купечеством.

Сводил это Сергей всякий раз на то, что не будь этого Феди, то родит она, Катерина Львовна, ребенка до девяти месяцев после пропажи мужа, достанется ей весь капитал и тогда счастью их конца-меры не будет.

Глава десятая

А потом вдруг Сергей и перестал совсем говорить о наследнике. Как только прекратились о нем речи в устах Сергеевых, так засел Федя Лямин и в ум, и в сердце Катерины Львовны. Даже задумчивая и к самому Сергею неласковая она стала. Спит ли, по хозяйству ли выйдет или Богу молиться станет, а на уме все у нее одно: «Как же это? за что в самом деле должна я через него лишиться капитала? Столько я страдала, столько греха на свою душу приняла, — думает Катерина Львовна, — а он без всяких хлопот приехал и отнимает у меня... И добро бы человек, а то дитя, мальчик...»

На дворе стали ранние заморозки. О Зиновии Борисыче, разумеется, никаких слухов ниоткуда не приходило. Катерина Львовна полнела и все ходила задумчивая; по городу на ее счет в барабаны барабанили, добираясь, как и отчего молодая Измайлова все нербдица была, все худела да чаврела*, и вдруг спереди пухнуть пошла. А отрочествующий сонаследник Федя Лямин в легком беличьем тулупе погуливал по двору да ледок по колдобинкам поламывал.

— Ну, Феодор Игнатьич! ну, купецкий сын! — кричит, бывало, на него, пробегая по двору, кухарка Аксинья. — Пристало это тебе, купецкому-то сыну, да в лужах копаться?

А сонаследник, смущавший Катерину Львовну с ее предметом, побрыкивал себе безмятежным козликом и еще безмятежнее спал супротив пестовавшей его бабушки, не думая и не помышляя, что он кому-нибудь перешел дорогу или поубавил счастья. Наконец набегал себе Федя ветряную оспу, а к ней привязалась еще простудная боль в груди, и мальчик слег. Лечили его сначала травками да муравками, а потом и за лекарем послали.

Стал ездить лекарь, стал прописывать лекарства, стали их давать мальчику по часам, то сама бабушка, а то Катерину Львовну попросит.

— Потрудись, — скажет, — Катеринушка, — ты, мать, сама человек грузный, сама суда Божьего ждешь; потрудись.

Катерина Львовна не отказывала старухе. Пойдет ли та ко всенощной помолиться за «лежащего на одре болезни отрока Феодора» или к ранней обедне часточку за него вынуть, Катерина Львовна сидит у больного, и напоит его, и лекарство ему даст вовремя.

Так пошла старушка к вечерне и ко всенощной под праздник Введения, а Катеринушку попросила присмотреть за Федюшкой. Мальчик в эту пору уж обмогался*. Катерина Львовна взошла к Феде, а он сидит на постели в своем беличьем тулупчике и читает патерик.

— Что ты это читаешь, Федя? — спросила его, усевшись в кресло, Катерина Львовна.

— Житие, тетенька, читаю.

— Занятно?

— Очень, тетенька, занятно.

Катерина Львовна подперлась рукою и стала смотреть на шевелящего губами Федю, и вдруг словно демоны с цепи сорвались, и разом осели ее прежние мысли о том, сколько зла причиняет ей этот мальчик и как бы хорошо было, если бы его не было.

«А ведь что, — думалось Катерине Львовне, — ведь больной он; лекарство ему дают… мало ли что в болезни… Только всего и сказу, что лекарь не такое лекарство потрафил».

— Пора тебе, Федя, лекарства?

— Пожалуйте, тетенька, — отвечал мальчик и, хлебнув ложку, добавил: — Очень занятно, тетенька, это о святых описывается.

— Ну читай, — проронила Катерина Львовна и,

обведя холодным взглядом комнату, остановила его на разрисованных морозом окнах.

— Надо окна велеть закрыть, — сказала она и вышла в гостиную, а оттуда в залу, а оттуда к себе наверх и присела.

Минут через пять к ней туда же наверх молча вошел Сергей в романовском полушубке, отороченном пушистым котиком.

— Закрыли окна? — спросила его Катерина Львовна.

— Закрыли, — отрывисто отвечал Сергей, снял щипцами со свечи и стал у печки.

Водворилось молчание.

— Нонче всенощная не скоро кончится? — спросила Катерина Львовна.

— Праздник большой завтра: долго будут служить, — отвечал Сергей.

Опять вышла пауза.

— Сходить к Феде: он там один, — произнесла, подымаясь, Катерина Львовна.

— Один? — спросил ее, глянув исподлобья, Сергей.

— Один, — отвечала она ему шепотом, — а что?

И из глаз в глаза у них замелькала словно какая сеть молниеносная; но никто не сказал более друг

другу ни слова.

Катерина Львовна сошла вниз, прошлась по пустым комнатам: везде все тихо; лампады спокойно горят; по стенам разбегается ее собственная тень; закрытые ставнями окна начали оттаивать и заплакали. Федя сидит и читает. Увидя Катерину Львовну, он только сказал:

— Тетенька, положьте, пожалуйста, эту книжку, а мне вон ту, с образника, пожалуйте.

Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и подала ему книгу.

— Ты не заснул ли бы, Федя?

— Нет, тетенька, я буду бабушку дожидаться.

— Чего тебе ее ждать?

— Она мне благословенного хлебца от всенощной обещалась.

Катерина Львовна вдруг побледнела, собственный ребенок у нее впервые повернулся под сердцем, и в груди у нее протянуло холодом. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая стынущие руки.

— Ну! — шепнула она, тихо взойдя в свою спальню и снова заставая Сергея в прежнем положении у печки.

— Что? — спросил едва слышно Сергей и поперхнулся.

— Он один.

Сергей надвинул брови и стал тяжело дышать.

— Пойдем, — порывисто обернувшись к двери, сказала Катерина Львовна.

Сергей быстро снял сапоги и спросил:

— Что ж взять?

— Ничего, — одним придыханием ответила Катерина Львовна и тихо повела его за собою за руку.

Глава одиннадцатая

Больной мальчик вздрогнул и опустил на колени книжку, когда к нему в третий раз взошла Катерина Львовна.

— Что ты, Федя?

— Ох, я, тетенька, чего-то испугался, — отвечал он, тревожно улыбаясь и прижимаясь в угол постели.

— Чего ж ты испугался?

— Да кто это с вами шел, тетенька?

— Где? Никто со мной, миленький, не шел.

— Никто?

Мальчик потянулся к ногам кровати и, прищурив глаза, посмотрел по направлению к дверям, через которые вошла тетка, и успокоился.

— Это мне, верно, так показалось, — сказал он.

Катерина Львовна остановилась, облокотясь на изголовную стенку племянниковой кровати.

Федя посмотрел на тетку и заметил ей, что она отчего-то совсем бледная.

В ответ на это замечание Катерина Львовна произвольно кашлянула и с ожиданием посмотрела на дверь гостиной. Там только тихо треснула одна половица.

— Житие моего ангела, святого Феодора Стратилата*, тетенька, читаю. Вот угождал Богу-то.

Катерина Львовна стояла молча.

— Хотите, тетенька, сядьте, а я вам опять прочитаю? — ласкался к ней племянник.

— Постой, я сейчас, только вот лампаду в зале поправлю, — ответила Катерина Львовна и вышла торопливою походкой.

В гостиной послышался самый тихий шепот; но он дошел среди общего безмолвия до чуткого уха ребенка.

— Тетенька! да что ж это? С кем же это вы там шепчетесь? — вскрикнул, с слезами в голосе, мальчик. — Идите сюда, тетенька: я боюсь, — еще слезливее позвал он через секунду, и ему послышалось, что Катерина Львовна сказала в гостиной «ну», которое мальчик отнес к себе.

— Чего боишься? — несколько охрипшим голосом спросила его Катерина Львовна, входя смелым, решительным шагом и становясь у его кровати так, что дверь из гостиной была закрыта от больного ее телом. — Ляг, — сказала она ему вслед за этим.



— Я, тетенька, не хочу.

— Нет, ты, Федя, послушайся меня, ляг, пора; ляг, — повторила Катерина Львовна.

— Что это вы, тетенька! да я не хочу совсем.

— Нет, ты ложись, ложись, — проговорила Катерина Львовна опять изменившимся, нетвердым голосом и, схватив мальчика под мышки, положила его на изголовье.

В это мгновение Федя неистово вскрикнул: он увидал входящего бледного, босого Сергея.

Катерина Львовна захватила своею ладонью раскрытый в ужасе рот испуганного ребенка и крикнула:

— А ну скорее; держи ровно, чтоб не бился!

Сергей взял Федю за ноги и за руки, а Катерина Львовна одним движением закрыла детское личико страдальца большою пуховою подушкою и сама навалилась на нее своей крепкой, упругой грудью.

Минуты четыре в комнате было могильное молчание.

— Кончился, — прошептала Катерина Львовна и только что привстала, чтобы привесть все в порядок, как стены тихого дома, сокрывшего столько преступлений, затряслись от оглушительных ударов: окна дребезжали, полы качались, цепоч-

ки висячих лампад вздрагивали и блуждали по стенам фантастическими тенями.

Сергей задрожал и со всех ног бросился бежать; Катерина Львовна кинулась за ним, а шум и гам за ними. Казалось, какие-то неземные силы колыхали грешный дом до основания.

Катерина Львовна боялась, чтобы, гонимый страхом, Сергей не выбежал на двор и не выдал себя своим перепугом; но он кинулся прямо на вышку.

Взбежавши на лестницу, Сергей в темноте треснулся лбом о полупритворенную дверь и со стоном полетел вниз, совершенно обезумев от суеверного страха.

— Зиновий Борисыч, Зиновий Борисыч! — бормотал он, летя вниз головою по лестнице и увлекая за собою сбитую им с ног Катерину Львовну.

— Где? — спросила она.

— Вот над нами с железным листом пролетел. Вот, вот опять! ай, ай! — закричал Сергей, — гремит, опять гремит.

Теперь было очень ясно, что множество рук стучат во все окна с улицы, а кто-то ломится в двери.

— Дурак! вставай, дурак! — крикнула Катерина

Львовна, и с этими словами она сама порхнула к Феде, уложила его мертвую голову в самой естественной спящей позе на подушках и твердой рукой отперла двери, в которые ломилась куча народа.

Зрелище было страшное. Катерина Львовна глянула повыше толпы, осаждающей крыльцо, а чрез высокий забор целыми рядами перелезают на двор незнакомые люди, и на улице стон стоит от людского говора.

Не успела Катерина Львовна ничего сообразить, как народ, окружающий крыльцо, смял ее и бросил в покои.

Глава двенадцатая

А вся эта тревога произошла вот каким образом: народу на всенощной под двунадесятый праздник во всех церквах хоть и уездного, но довольно большого и промышленного города, где жила Катерина Львовна, бывает видимо-невидимо, а уж в той церкви, где завтра престол, даже и в ограде яблоку упасть негде. Тут обыкновенно поют певчие, собранные из купеческих молодцов и управляемые особым регентом* тоже из любителей вокального искусства.

Наш народ набожный, к церкви Божией рачительный, и по всему этому народ в свою меру художественный: благолепие церковное и стройное «органистое» пение составляют для него одно из самых высоких и самых чистых его наслаждений. Где поют певчие, там у нас собирается чуть не половина города, особенно торговая молодежь: приказчики, мальчики, молодцы, мастеровые с фабрик, с заводов и сами хозяева с своими половинами, — все собьются в одну церковь; каждому хочется хоть на паперти постоять, хоть под окном на пёклом жару или на трескучем морозе послушать, как органит октава, а заносистый тенор*

отливает самые капризные варшлаки*.

В приходской церкви измайловского дома был престол в честь Введения во храм Пресвятыя Богородицы, и потому вечером под день этого праздника, в самое время описанного происшествия с Федей, молодежь целого города была в этой церкви и, расходясь шумною толпою, толковала о достоинствах известного тенора и случайных неловкостях столь же известного баса.

Но не всех занимали эти вокальные вопросы: были в толпе люди, интересовавшиеся и другими вопросами.

— А вот, ребята, чудно тоже про молодую Измайлиху сказывают, — заговорил, подходя к дому Измайловых, молодой машинист, привезенный одним купцом из Петербурга на свою паровую мельницу, — сказывают, — говорил он, — будто у нее с ихним приказчиком Сережкой по всякую минуту амуры идут…

— Это уж всем известно, — отвечал тулуп, крытый синей нанкой*. — Ее нонче и в церкви, знать, не было.

— Что церковь? Столь скверная бабенка испаскудилась, что уж ни Бога, ни совести, ни глаз людских не боится.

— А ишь, у них вот светится, — заметил машинист, указывая на светлую полоску между ставнями.

— Глянь-ка в щелочку, что там делают? — цыкнули несколько голосов.

Машинист оперся на двое товарищеских плеч и только что приложил глаз к ставенному створу, как благим матом крикнул:

— Братцы мои, голубчики! душат кого-то здесь, душат!

И машинист отчаянно заколотил руками в ставню. Человек десять последовали его примеру и, вскочив к окнам, тоже заработали кулаками. Толпа увеличивалась каждое мгновение, и произошла известная нам осада измайловского дома.

— Видел сам, собственными моими глазами видел, — свидетельствовал над мертвым Федею машинист, — младенец лежал повержен на ложе, а они вдвоем душили его.

Сергея взяли в часть в тот же вечер, а Катерину Львовну отвели в ее верхнюю комнату и приставили к ней двух часовых.

В доме Измайловых был нестерпимый холод: печи не топились; дверь на пяди* не стояла: одна густая толпа любопытного народа сменяла дру-

гую. Все ходили смотреть на лежащего в гробу Федю и на другой большой гроб, плотно закрытый по крыше широкою пеленою. На лбу у Феди лежал белый атласный венчик, которым был закрыт красный рубец, оставшийся после вскрытия черепа. Судебно-медицинским вскрытием было обнаружено, что Федя умер от удушения, и приведенный к его трупу Сергей, при первых же словах священника о Страшном суде и наказании нераскаянным, расплакался и чистосердечно сознался не токмо в убийстве Феди, но и попросил откопать зарытого им без погребения Зиновия Борисыча. Труп мужа Катерины Львовны, зарытый в сухом песке, еще не совершенно разложился: его вынули и уложили в большой гроб. Своею участницею в обоих этих преступлениях Сергей назвал, к всеобщему ужасу, молодую хозяйку. Катерина Львовна на все вопросы отвечала только: «я ничего этого не знаю и не ведаю». Сергея заставили уличать ее на очной ставке. Выслушав его признания, Катерина Львовна посмотрела на него с немым изумлением, но без гнева, и потом равнодушно сказала:

— Если ему охота была это сказывать, так мне запираться нечего: я убила.

— Для чего же? — спрашивали ее.

— Для него, — отвечала она, показав на повесившего голову Сергея.

Преступников рассадили в остроге, и ужасное дело, обратившее на себя всеобщее внимание и негодование, было решено очень скоро. В конце февраля Сергею и купеческой третьей гильдии вдове Катерине Львовне объявили в уголовной палате, что их решено наказать плетьми на торговой площади своего города и сослать потом обоих в каторжную работу. В начале марта, в холодное морозное утро, палач отсчитал положенное число сине-багровых рубцов на обнаженной белой спине Катерины Львовны, а потом отбил порцию и на плечах Сергея и заштемпелевал его красивое лицо тремя каторжными знаками.

Во все это время Сергей почему-то возбуждал гораздо более общего сочувствия, чем Катерина Львовна. Измазанный и окровавленный, он падал, сходя с черного эшафота, а Катерина Львовна сошла тихо, стараясь только, чтобы толстая рубаха и грубая арестантская свита не прилегали к ее изорванной спине.

Даже в острожной больнице, когда ей там подали ее ребенка, она только сказала: «Ну его совсем!» — и, отворотясь к стене, без всякого стона, без всякой жалобы повалилась грудью на

жесткую койку.

Глава тринадцатая

Партия, в которую попали Сергей и Катерина Львовна, выступала, когда весна значилась только по календарю, а солнышко еще по народной пословице «ярко светило, да не тепло грело».

Ребенка Катерины Львовны отдали на воспитание старушке, сестре Бориса Тимофеича, так как, считаясь законным сыном убитого мужа преступницы, младенец оставался единственным наследником всего теперь измайловского состояния. Катерина Львовна была этим очень довольна и отдала дитя весьма равнодушно. Любовь ее к отцу, как любовь многих слишком страстных женщин, не переходила никакою своею частию на ребенка.

Впрочем, для нее не существовало ни света, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей; она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила. Она ждала с нетерпением только выступления партии в дорогу, где опять надеялась видеться с своим Сережечкой, а о дитяти забыла и думать.

Надежды Катерины Львовны ее не обманули: тяжело окованный цепями, клейменый Сергей

вышел в одной с нею кучке за острожные ворота.

Ко всякому отвратительному положению человек по возможности привыкает, и в каждом положении он сохраняет по возможности способность преследовать свои скудные радости; но Катерине Львовне не к чему было и приспосабливаться: она видит опять Сергея, а с ним ей и каторжный путь цветет счастием.

Мало вынесла с собою Катерина Львовна в пестрядинном* мешке ценных вещей и еще того меньше наличных денег. Но и это все, еще далеко не доходя до Нижнего, раздала она этапным ундерам* за возможность идти с Сергеем рядышком дорогой и постоять с ним обнявшись часок темной ночью в холодном закоулочке узенького этапного коридора.

Только штемпелеванный дружок Катерины Львовны стал что-то до нее очень неласков: что ей ни скажет, как оторвет; тайными свиданьями с ней, за которые та не евши и не пивши отдает самой ей нужный четвертинок* из тощего кошелька, дорожит не очень и даже не раз говаривал:

— Ты замест того, чтоб углы-то в коридоре выходить со мной обтирать, мне бы эти деньги

предоставила, что ундеру отдала.

— Четвертачок всего, Сереженька, я дала, — оправдывалась Катерина Львовна.

— А четвертачок неш не деньги? Много ты их на дороге-то наподнимала, этих четвертачков, а рассовала уж, чай, немало.

— За то же, Сережа, видались.

— Ну легко ли, радость какая после этакой муки видаться-то! Жисть-то свою проклял бы, а не то что свидание.

— А мне, Сережа, все равно: мне лишь бы тебя видеть.

— Глупости все это, — отвечал Сергей.

Катерина Львовна иной раз до крови губы кусала при таких ответах, а иной раз и на ее неплаксивых глазах слезы злобы и досады навертывались в темноте ночных свиданий; но все она терпела, все молчала и сама себя хотела обманывать.

Таким образом в этих новых друг к другу отношениях дошли они до Нижнего Новгорода. Здесь партия их соединилась с партиею, следовавшею в Сибирь с московского тракта.

В этой большой партии в числе множества всякого народа в женском отделении были два очень интересные лица: одна — солдатка Фиона

из Ярославля, такая чудесная, роскошная женщина, высокого роста, с густою черною косою и томными карими глазами, как таинственной фатой завешанными густыми ресницами; а другая — семнадцатилетняя востролиценькая блондиночка с нежно-розовой кожей, крошечным ротиком, ямочками на свежих щечках и золотисто-русыми кудрями, капризно выбегавшими на лоб из-под арестантской пестрядинной повязки. Девочку эту в партии звали Сонеткой.

Красавица Фиона была нрава мягкого и ленивого. В своей партии ее все знали, и никто из мужчин особенно не радовался, достигая у нее успеха, и никто не огорчался, видя, как она тем же самым успехом дарила другого искателя.

— Тетка Фиона *у нас* баба добреющая, никому от нее обиды нет, — говорили шутя арестанты в один голос.

Но Сонетка была совсем в другом роде.

Об этой говорили:

— Вьюн: около рук вьется, а в руки не дается.

Сонетка имела вкус, блюла выбор и даже, может быть, очень строгий выбор; она хотела, чтобы страсть приносили ей не в виде сыроежки, а под пикантною, пряною приправою, с страданиями и с жертвами; а Фиона была русская простота, кото-

рой даже лень сказать кому-нибудь «прочь поди» и которая знает только одно, что она баба. Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, арестантских партиях и петербургских социально-демократических коммунах.

Появление этих двух женщин в одной соединенной партии с Сергеем и Катериной Львовной имело для последней трагическое значение.

Глава четырнадцатая

С первых же дней вместного следования соединенной партии от Нижнего к Казани Сергей стал видимым образом заискивать расположения солдатки Фионы и не пострадал безуспешно. Томная красавица Фиона не истомила Сергея, как не томила она по своей доброте никого. На третьем или четвертом этапе Катерина Львовна с ранних сумерек устроила себе, посредством подкупа, свидание с Сережечкой и лежит не спит: все ждет, что вот-вот взойдет дежурный ундерок, тихонько толкнет ее и шепнет: «беги скорей». Отворилась дверь раз, и какая-то женщина юркнула в коридор; отворилась и еще раз дверь, и еще с нар скоро вскочила и тоже исчезла за провожатым другая арестантка; наконец дернули за свиту, которой была покрыта Катерина Львовна. Молодая женщина быстро поднялась с облощенных арестантскими боками нар, накинула свиту на плечи и толкнула стоящего перед нею провожатого.

Когда Катерина Львовна проходила по коридору, только в одном месте, слабо освещенном слепою плошкою, она наткнулась на две или три

пары, не дававшие ничем себя заметить издали. При проходе Катерины Львовны мимо мужской арестантской, сквозь окошечко, прорезанное в двери, ей послышался сдержанный хохот.

— Ишь жируют, — буркнул провожатый Катерины Львовны и, придержав ее за плечи, ткнул в уголочек и удалился.

Катерина Львовна нащупала рукой свиту и бороду; другая ее рука коснулась жаркого женского лица.

— Кто это? — спросил вполголоса Сергей.

— А ты чего тут? с кем ты это?

Катерина Львовна дернула впотьмах повязку с своей соперницы. Та скользнула в сторону, бросилась и, споткнувшись на кого-то в коридоре, полетела.

Из мужской камеры раздался дружный хохот.

— Злодей! — прошептала Катерина Львовна и ударила Сергея по лицу концами платка, сорванного с головы его новой подруги.

Сергей поднял было руку; но Катерина Львовна легко промелькнула по коридору и взялась за свои двери. Хохот из мужской комнаты вслед ей повторился до того громко, что часовой, апатично стоявший против плошки и плевавший себе в носок сапога, приподнял голову и рыкнул:

— Цыц!

Катерина Львовна улеглась молча и так пролежала до утра. Она хотела себе сказать: «не люблю ж его» — и чувствовала, что любила его еще горячее, еще больше. И вот в глазах ее все рисуется, все рисуется, как ладонь его дрожала у той под ее головою, как другая рука его обнимала ее жаркие плечи.

Бедная женщина заплакала и звала мимовольно ту же ладонь, чтобы она была в эту минуту под ее головою и чтоб другая его же рука обняла ее истерически дрожавшие плечи.

— Ну, одначе, дай же ты мне мою повязку, — побудила ее утром солдатка Фиона.

— А, так это ты?..

— Отдай, пожалуйста!

— А ты зачем разлучаешь?

— Да чем же я вас разлучаю? Неш это какая любовь или интерес в самом деле, чтоб сердиться?

Катерина Львовна секунду подумала, потом вынула из-под подушки сорванную ночью повязку и, бросив ее Фионе, повернулась к стенке. Ей стало легче.

— Тьпфу, — сказала она себе, — неужели ж таки к этой лоханке крашеной я ревновать стану? Сгинь она! Мне и применять-то себя к ней

скверно.

— А ты, Катерина Ильвовна, вот что, — говорил, идучи назавтра дорогою, Сергей, — ты, пожалуйста, разумей, что один раз я тебе не Зиновий Борисыч, а другое, что и ты теперь не велика купчиха: так ты не пышись, сделай милость. Козьи рога у нас в торг нейдут.

Катерина Львовна ничего на это не отвечала, и с неделю она шла, с Сергеем ни словом, ни взглядом не обменявшись. Как обиженная, она все-таки выдерживала характер и не хотела сделать первого шага к примирению в этой первой ее ссоре с Сергеем.

Между тем этой порою, как Катерина Львовна на Сергея сердилась, Сергей стал чепуриться* и заигрывать с беленькой Сонеткой. То раскланивается ей «с нашим особенным», то улыбается, то, как встретится, норовит обнять да прижать ее. Катерина Львовна все это видит, и только пуще у нее сердце кипит.

«Уж помириться бы мне с ним, что ли?» — рассуждает, спотыкаясь и земли под собою не видя, Катерина Львовна.

Но подойти же первой помириться теперь еще более, чем когда-либо, гордость не позволяет. А тем временем Сергей все неотступнее вяжется

за Сонеткой, и уж всем сдается, что недоступная Сонетка, которая все вьюном вилась, а в руки не давалась, что-то вдруг будто ручнеть стала.

— Вот ты на меня плакалась, — сказала как-то Катерине Львовне Фиона, — а я что тебе сделала? Мой случай был да и прошел, а ты вот за Сонеткой-то глядела б.

«Пропади она, эта моя гордость: непременно нонче же помирюсь», — решила Катерина Львовна, размышляя уж только об одном, как бы только ловчей взяться за это примирение.

Из этого затруднительного положения ее вывел сам Сергей.

— Ильвовна! — позвал он ее на привале. — Выдь ты нонче ко мне на минуточку ночью: дело есть.

Катерина Львовна промолчала.

— Что ж, может, сердишься еще — не выйдешь?

Катерина Львовна опять ничего не ответила.

Но Сергей, да и все, кто наблюдал за Катериной Львовной, видели, что, подходя к этапному дому, она все стала жаться к старшему ундеру и сунула ему семнадцать копеек, собранных от мирского подаяния.

— Как только соберу, я вам додам гривну*, —

упрашивала Катерина Львовна.

Ундер спрятал за обшлаг деньги и сказал:

— Ладно.

Сергей, когда кончились эти переговоры, крякнул и подмигнул Сонетке.

— Ах ты, Катерина Ильвовна! — говорил он, обнимая ее при входе на ступени этапного дома. — Супротив этой женщины, ребята, в целом свете другой такой нет.

Катерина Львовна и краснела, и задыхалась от счастья. Чуть ночью тихонько приотворилась дверь, она так и выскочила: дрожит и ищет руками Сергея по темному коридору.

— Катя моя! — произнес, обняв ее, Сергей.

— Ах ты, злодей ты мой! — сквозь слезы отвечала Катерина Львовна и прильнула к нему губами.

Часовой ходил по коридору, и, останавливаясь, плевал на свои сапоги, и ходил снова, за дверями усталые арестанты храпели, мышь грызла перо, под печью, взапуски друг перед другом, заливались сверчки, а Катерина Львовна все еще блаженствовала.

Но устали восторги, и слышна неизбежная проза.

— Смерть больно: от самой от щиколотки до

самого колена кости так и гудут, — жаловался Сергей, сидя с Катериной Львовной на полу в углу коридора.

— Что же делать-то, Сережечка? — расспрашивала она, ютясь под полу его свиты.

— Нешто только в лазарет в Казани попрошусь?

— Ох, чтой-то ты, Сережа?

— А что ж, когда смерть моя больно.

— Как же ты останешься, а меня погонят?

— А что ж делать? трет, так, я тебе говорю, трет, что как в кость вся цепь не въедается… Разве когда б шерстяные чулки, что ли, поддеть еще, — проговорил Сергей спустя минуту.

— Чулки? у меня еще есть, Сережа, новые чулки.

— Ну, на что! — отвечал Сергей.

Катерина Львовна, ни слова не говоря более, юркнула в камеру, растормошила на нарах свою сумочку и опять торопливо выскочила к Сергею с парою толстых синих болховских шерстяных чулок с яркими стрелками сбоку.

— Эдак теперь ничего будет, — произнес Сергей, прощаясь с Катериной Львовной и принимая ее последние чулки.

Катерина Львовна, счастливая, вернулась на

свои нары и крепко заснула. Она не слыхала, как после ее прихода в коридор выходила Сонетка и как тихо она возвратилась оттуда уже перед самым утром. Это случилось всего за два перехода до Казани.

Глава пятнадцатая

Холодный, ненастный день с порывистым ветром и дождем, перемешанным со снегом, неприветно встретил партию, выступавшую за ворота душного этапа. Катерина Львовна вышла довольно бодро, но только что стала в ряд, как вся затряслась и позеленела. В глазах у нее стало темно; все суставы ее заныли и расслабели. Перед Катериной Львовной стояла Сонетка в хорошо знакомых той синих шерстяных чулках с яркими стрелками.

Катерина Львовна двинулась в путь совсем неживая; только глаза ее страшно смотрели на Сергея и с него не смаргивали. На первом привале она спокойно подошла к Сергею, прошептала «подлец» и неожиданно плюнула ему прямо в глаза.

Сергей хотел на нее броситься; но его удержали.

— Погоди ж ты! — произнес он и обтерся.

— Ничего, однако, отважно она с тобой поступает, — трунили над Сергеем арестанты, и особенно веселым хохотом заливалась Сонетка.

Эта интрижка, на которую сдалась Сонетка,

шла совсем в ее вкусе.

— Ну, это ж тебе так не пройдет, — грозился Катерине Львовне Сергей.

Умаявшись непогодью и переходом, Катерина Львовна с разбитою душой тревожно спала ночью на нарах в очередном этапном доме и не слыхала, как в женскую казарму вошли два человека.

С приходом их с нар приподнялась Сонетка, молча показала она вошедшим рукою на Катерину Львовну, опять легла и закуталась своею свитою.

В это же мгновение свита Катерины Львовны взлетела ей на голову, и по ее спине, закрытой одною суровою рубашкою, загулял во всю мужичью мочь толстый конец вдвое свитой веревки.

Катерина Львовна вскрикнула; но голоса ее не было слышно из-под свиты, окутывающей ее голову. Она рванулась, но тоже без успеха: на плечах ее сидел здоровый арестант и крепко держал ее руки.

— Пятьдесят, — сосчитал наконец один голос, в котором никому не трудно было узнать голос Сергея, и ночные посетители разом исчезли за дверью.

Катерина Львовна раскутала голову и вско-

чила: никого не было; только невдалеке кто-то злорадно хихикал под свитою.

Катерина Львовна узнала хохот Сонетки. Обиде этой уже не было меры; не было меры и чувству злобы, закипевшей в это мгновение в душе Катерины Львовны. Она без памяти ринулась вперед и без памяти упала на грудь подхватившей ее Фионы.

На этой полной груди, еще так недавно тешившей сластью разврата неверного любовника Катерины Львовны, она теперь выплакивала нестерпимое свое горе и, как дитя к матери, прижималась к своей глупой и рыхлой сопернице. Они были теперь равны: они обе были сравнены в цене и обе брошены.

Они равны!.. подвластная первому случаю Фиона и совершающая драму любви Катерина Львовна!

Катерине Львовне, впрочем, было уже ничто не обидно. Выплакав свои слезы, она окаменела и с деревянным спокойствием собиралась выходить на перекличку.

Барабан бьет: тах-тарарах-тах; на двор вываливают скованные и нескованные арестантики, и Сергей, и Фиона, и Сонетка, и Катерина Львовна, и раскольник, скованный с жидом, и поляк на

одной цепи с татарином.

Все скучились, потом выровнялись кое в какой порядок и пошли.

Безотраднейшая картина: горсть людей, оторванных от света и лишенных всякой тени надежд на лучшее будущее, тонет в холодной черной грязи грунтовой дороги. Кругом все до ужаса безобразно: бесконечная грязь, серое небо, обезлиственные, мокрые ракиты и в растопыренных их сучьях нахохлившаяся ворона. Ветер то стонет, то злится, то воет и ревет.

В этих адских, душу раздирающих звуках, которые довершают весь ужас картины, звучат советы жены библейского Иова*: «Прокляни день твоего рождения и умри».

Кто не хочет вслушиваться в эти слова, кого мысль о смерти и в этом печальном положении не льстит, а пугает, тому надо стараться заглушить эти воющие голоса чем-нибудь еще более их безобразным. Это прекрасно понимает простой человек: он спускает тогда на волю всю свою звериную простоту, начинает глупить, издеваться над собою, над людьми, над чувством. Не особенно нежный и без того, он становится зол сугубо.

— Что, купчиха? Все ли ваше степенство в

добром здоровье? — нагло спросил Катерину Львовну Сергей, чуть только партия потеряла за мокрым пригорком деревню, где ночевала.

С этими словами он, сейчас же обратясь к Сонетке, покрыл ее своею полою и запел высоким фальцетом:

За окном в тени мелькает русая головка.

Ты не спишь, мое мученье, ты не спишь, плутовка.

*Я полой тебя прикрою, так что не заметят**.

При этих словах Сергей обнял Сонетку и громко поцеловал ее при всей партии.

Катерина Львовна все это видела и не видала: она шла совсем уж неживым человеком. Ее стали поталкивать и показывать ей, как Сергей безобразничает с Сонеткой. Она стала предметом насмешек.

— Не троньте ее, — заступалась Фиона, когда кто-нибудь из партии пробовал подсмеяться над спотыкающеюся Катериной Львовною. — Нешто не видите, черти, что женщина больна совсем?

— Должно, ножки промочила, — острил молодой арестант.

— Известно, купеческого роду: воспитания нежного, — отозвался Сергей. — Разумеется, если бы им хотя чулочки бы теплые: оно бы ничего еще, — продолжал он.

Катерина Львовна словно проснулась.

— Змей подлый! — произнесла она, не стерпев, — насмехайся, подлец, насмехайся!

— Нет, я это совсем, купчиха, не в насмешку, а что вот Сонетка чулки больно гожие продает, так я только думал: не купит ли, мол, наша купчиха.

Многие засмеялись. Катерина Львовна шагала, как заведенный автомат.

Погода все разыгрывалась. Из серых облаков, покрывавших небо, стал падать мокрыми хлопьями снег, который, едва касаясь земли, таял и увеличивал невылазную грязь. Наконец показывается темная свинцовая полоса; другого края ее не рассмотришь. Эта полоса — Волга. Над Волгой ходит крепковатый ветер и водит взад и вперед медленно приподнимающиеся широкопастые темные волны.

Партия промокших и продрогнувших арестантов медленно подошла к перевозу и остановилась, ожидая парома.

Подошел весь мокрый, темный паром; команда начала размещать арестантов.

— На этом пароме, сказывают, кто-то водку держит, — заметил какой-то арестант, когда осыпаемый хлопьями мокрого снега паром отчалил от берега и закачался на валах расходившейся реки.

— Да, теперь ба точно безделицу пропустить ничего, — отзывался Сергей и, преследуя для Сонеткиной потехи Катерину Львовну, произнес: — Купчиха, а ну-ко по старой дружбе угости водочкой. Не скупись. Вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, как мы с тобой, моя радость, погуливали, осенние долги ночи просиживали, твоих родных без попов и без дьяков на вечный спокой спроваживали.

Катерина Львовна вся дрожала от холода. Кроме холода, пронизывающего ее под измокшим платьем до самых костей, в организме Катерины Львовны происходило еще нечто другое. Голова ее горела как в огне; зрачки глаз были расширены, оживлены блудящим острым блеском и неподвижно вперены в ходящие волны.

— Ну а водочки и я б уж выпила: мочи нет холодно, — прозвенела Сонетка.

— Купчиха, да угости, что ль! — мозолил Сергей.

— Эх ты, совесть! — выговорила Фиона, качая с

упреком головою.

— Не к чести твоей совсем это, — поддержал солдатку арестантик Гордюшка.

— Хушь бы ты не против самой ее, так против других за нее посовестился.



— Ну ты, мирская табакерка! — крикнул на Фиону Сергей. — Тоже — совеститься! Что мне тут еще совеститься! я ее, может, и никогда не любил, а теперь… да мне вот стоптанный Сонеткин башмак милее ее рожи, кошки эдакой ободранной: так что ж ты мне против этого говорить можешь? Пусть вон Гордюшку косоротого любит; а то… — Он оглянулся на едущего верхом сморчка в бурке и в военной фуражке с кокардой и добавил: — А то вон еще лучше к этапному пусть поластится: у него под буркой по крайности дождем не пробирает.

— И все б офицершей звать стали, — прозвенела Сонетка.

— Да как же!.. и на чулочки-то б шутя бы достала, — поддержал Сергей.

Катерина Львовна за себя не заступалась: она все пристальнее смотрела в волны и шевелила губами. Промежду гнусных речей Сергея гул и стон слышались ей из раскрывающихся и хлопающих валов. И вот вдруг из одного переломившегося вала показывается ей синяя голова Бориса Тимофеича, из другого выглянул и закачался муж, обнявшись с поникшим головкой Федей. Катерина Львовна хочет припомнить молитву и шевелит губами, а губы ее шепчут:

«как мы с тобой погуливали, осенние долги ночи просиживали, лютой смертью с бела света людей спроваживали».

Катерина Львовна дрожала. Блудящий взор ее сосредоточивался и становился диким. Руки раз и два неведомо куда протянулись в пространство и снова упали. Еще минуту — и она вдруг вся закачалась, не сводя глаз с темной волны, нагнулась, схватила Сонетку за ноги и одним махом перекинулась с нею за борт парома.

Все окаменели от изумления.

Катерина Львовна показалась на верху волны и опять нырнула; другая волна вынесла Сонетку.

— Багор*, бросай багор! — закричали на пароме.

Тяжелый багор на длинной веревке взвился и упал в воду. Сонетки опять не стало видно. Через две секунды, быстро уносимая течением от парома, она снова вскинула руками; но в это же время из другой волны почти по пояс поднялась над водою Катерина Львовна, бросилась на Сонетку, как сильная щука на мягкоперую плотицу*, и обе более уже не показались.

Однодум



Глава первая

В царствование Екатерины II, у некоторых приказного рода* супругов, по фамилии Рыжовых, родился сын по имени Алексашка. Жило это семейство в Солигаличе, уездном городке Костромской губернии, расположенном при реках Костроме и Светице. Там, по словарю кн. Гагарина*, значится семь каменных церквей, два духовные и одно светское училище, семь фабрик и заводов, тридцать семь лавок, три трактира, два питейные дома и 3665 жителей обоего пола. В городе бывают две годовые ярмарки и еженедельные базары; кроме того, значится «довольно деятельная торговля известью и дегтем». В то время, когда жил наш герой, здесь еще были соляные варницы.

Все это надо знать, чтобы составить понятие о том, как мог жить и как действительно жил мелкотравчатый* герой нашего рассказа Алексашка, или, впоследствии, Александр Афанасьевич Рыжов, по уличному прозванию «Однодум».

Родители Алексашки имели собственный дом — один из тех домиков, которые в здешней лесной местности *ничего не стоят,* но, однако, дают

кров. Других детей, кроме Алексашки, у приказного Рыжова не было, или по крайней мере о них мне ничего не сказано.

Приказный умер вскоре после рождения этого сына и оставил жену и сына ни с чем, кроме того домика, который, как сказано, «ничего не стоил». Но вдова-приказничиха сама дорого стоила: она была из тех русских женщин, которая «в беде не сробеет, спасет; коня на скаку остановит, в горящую избу взойдет», — простая, здравая, трезвомысленная русская женщина, с силою в теле, с отвагой в душе и с нежною способностью любить горячо и верно.

Когда она овдовела, в ней еще были приятности, пригодные для неприхотливого обихода, и к ней кое-кто засылали свах, но она отклонила новое супружество и стала заниматься печеньем пирогов. Пироги изготовлялись по скоромным дням с творогом и печенкою, а по постным* — с кашею и горохом; вдова выносила их в ночвах* на площадь и продавала по медному пятаку за штуку. От прибыли своего пирожного производства она питала себя и сына, которого отдала в науку «мастерице»; мастерица научила Алексашку тому, что сама знала. Дальнейшую же, более серьезную науку преподал ему дьяк с косою и

с кожаным карманом, в коем у него без всякой табакерки содержался нюхательный порошок для известного употребления.

Дьяк, «отучив» Алексашку, взял горшок каши за выучку, и с этим вдовин сын пошел в люди добывать себе хлеб-соль и все определенные для него блага мира.

Алексашке тогда было четырнадцать лет, и в этом возрасте его можно отрекомендовать читателю.

Молодой Рыжов породою удался в мать: он был рослый, плечистый, — почти атлет, необъятной силы и несокрушимого здоровья. В свои отроческие годы он был уже первый силач и так удачно предводительствовал *стеною* на кулачных боях, что на которой стороне был Алексашка Рыжов, — та считалась непобедимою. Он был досуж* и трудолюбив. Дьякова школа дала ему превосходный, круглый, четкий, красивый почерк, которым он написал старухам множество заупокойных поминаний и тем положил начало самопитания. Но важнее этого были те свойства, которые дала ему его мать, сообщившая живым примером строгое и трезвое настроение его здоровой душе, жившей в здоровом и сильном теле. Он был, как мать, умерен во всем и никогда не

прибегал ни к чьей посторонней помощи.

В четырнадцать лет он уже считал грехом есть материн хлеб; поминания* приносили немного, и притом заработок этот, зависящий от случайностей, был непостоянен; к торговле Рыжов питал врожденное отвращение, а оставить Солигалич не хотел, чтобы не разлучаться с матерью, которую очень любил. А потому надо было здесь же промыслить себе занятие, и он его промыслил.

В то время у нас только образовывались постоянные почтовые сообщения: между ближайшими городами учреждались раз в неделю гонцы, которые *носили* суму с пакетами. Это называлось пешая почта. Плата за эту службу назначалась не великая: рубля полтора в месяц «на своих харчах и при своей обуви». Но для кого и такое содержание было заманчиво, те колебались взяться носить почту, потому что для чуткой христианской совести русского благочестия представлялось сомнительным: не заключается ли в такой пустой затее, как разноска бумаги, чего-нибудь еретического и противного истинному христианству?

Всякий, кому довелось о том слышать, — раздумывал, как бы не истравить этим душу и за мзду временную не потерять жизнь вечную. И

тут-то вот общее сердоболие устроило Рыжовкина Алексашку.

— Он, — говорили, — сирота: ему больше Господь простит, — особенно по ребячеству. Ему, если его на поноске дорогою медведь или волк задерет и он на суд предстанет, одно отвечать: «не разумел, Господи», да и только. И в ту пору взять с него нечего. А если да он уцелеет и со временем в лета взойдет, то может в монастырь пойти и все преотлично отмолить, да еще не за своей свечой и при чужом ладане. Чего ему еще по сиротству его ожидать лучшего?

Сам Алексашка, которого это касалось всех более, был от мира не прочь и на мир не челобитчик*: он смелою рукою взял почтовую суму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигалича в Чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре: он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Бориса или Кольцова*, но у Алексашки Рыжова была другая складка, — не поэтическая, а философская, и из него вышел только замечательный чудак «Однодум». Ни

даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали; почтовая сума до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой сумы, всегда носил с собою еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние.

Книга эта была Библия.

Глава вторая

Мне неизвестно, сколько лет он нес службу в пешей почте, беспрестанно таская суму и Библию, но, кажется, это было долго и кончилось тем, что пешая почта заменилась конною, а Рыжову «вышел чин». После этих двух важных в жизни нашего героя событий в судьбе его произошел большой перелом: охочий ходок с почтою, он уже не захотел ездить с почтарем и стал искать себе другого места, — опять непременно там же, в Солигаличе, чтобы не расстаться с матерью, которая в то время уже остарела и, притупев зрением, стала хуже печь свои пироги.

Судя по тому, что чины на низших почтовых должностях получались очень не скоро, например лет за двенадцать, — надо думать, что Рыжов имел об эту пору лет двадцать шесть или даже немножко более, и во все это время он только ходил взад и вперед из Солигалича в Чухлому и на ходу и на отдыхе читал одну только свою Библию в затрапезном переплете. Он начитался ее вволю и приобрел в ней большие и твердые познания, легшие в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать

и прилагать к делу свои библейские воззрения.

Конечно, во всем этом было много оригинального. Рыжов, например, знал наизусть все писания многих пророков и особенно любил Исаию*, широкое боговедение которого отвечало его душевной настроенности и составляло весь его катехизис* и все богословие.

Старый человек, знавший во время своей юности восьмидесятипятилетнего Рыжова, когда он уже прославился и заслужил имя «Однодума», говорил мне, как этот старик вспоминал какой-то «дуб на болоте», где он особенно любил отдыхать и «кричать ветру».

— Стану, — говорит, — бывало, и воплю встречь воздуху:

«Позна вол Стяжавшего* и осел ясли Господина своего, а людие мои неразумеша. Семя лукавое; сыны беззакония! Что еще уязвляетесь, прилагая неправды! Всякая глава в болезнь, — всякое сердце в плач. — Что ми множество жертв ваших: тука агнцов и крови юниц и козлов не хощу. Не приходите явитися ми. И аще принесете ми семидал — всуе; кадило мерзость ми есть. Новомесячий ваших, и суббот, и дне великого не потерплю: поста, и праздности, и новомесячий ваших, и праздников ненавидит душа моя. — Егда

простреть руки ваши ко мне, отвращу очи мои от вас, и аще умножите моления, — не услышу вас. Измыйтесь, отымите лукавство от душ ваших. Научитеся добро творити, и приидите истяжемся, и аще будут грехи ваши яко багряное — убелю их яко снег. Но князи не покоряются, — общницы татем любяще дары, гоняще воздаяние — сего ради глаголет Саваоф: горе крепким, — не престанет бо ярость моя на противныя».

И выкрикивал сирота-мальчуган это «горе, горе крепким» над пустынным болотом, и мнилось ему, что ветер возьмет и понесет слова Исаии и отнесет туда, где виденные Иезекиилем* «сухие кости» лежат, не шевелятся; не нарастает на них живая плоть, и не оживает в груди истлевшее сердце.

Его слушал дуб и гады болотные, а он сам делался полумистиком, полуагитатором в библейском духе, — по его словам: «дышал любовью и дерзновением».

Все это созрело в нем давно, но обнаружилось в ту пору, когда он получил чин и стал искать другого места, не над болотом. Развитие Рыжова было уже совершенно закончено, и наступало время деятельности, в которой он мог приложить правила, созданные им себе на библейском

грунте.

Под тем же дубом, над тем же болотом, где Рыжов выкрикивал словами Исаии «горе крепким», он дождался духа, давшего ему мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших. И он принял это посвящение и пронес его во весь почти столетний путь до могилы, ни разу не споткнувшись, никогда не захромав ни на правое колено, ни на левое.

Впереди нас ожидает довольно образцов его задохнувшейся в тесноте удивительной силы и в конце сказания неожиданный акт дерзновенного бесстрашия, увенчавший его, как рыцаря, рыцарскою наградою.

Глава третья

В ту отдаленную пору, к которой восходит передаваемый мною рассказ о Рыжове, самое главное лицо в каждом русском городишке был городничий. Не раз было сказано и никем не оспорено, что, по понятию многих русских людей, каждый городничий был «третье лицо в государстве». Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего — монарха разветвлялась так: первое лицо в государстве — государь, правящий всем государством; за ним второе — губернатор, который правит губерниею, и потом прямо за губернатором непосредственно следует третье — городничий, «сидящий на городу». Исправников* тогда еще не было, и потому о них в разделении власти суждения не полагали. Так это оставалось, впрочем, и впоследствии: исправник был человек разъездной, и он сек только сельских людей, которые тогда еще не имели самостоятельного понятия об иерархии и, кто их ни сек, — одинаково ногами перебирали.

Введение новых судебных учреждений, ограничившее прежнюю теократическую* полноправность сельских администраторов, попортило это,

особенно в городах, где оно значительно содействовало падению не только городнического, а даже губернаторского престижа, поднять который на прежнюю высоту уже невозможно, — по крайней мере для городничих, высокий уряд которых заменен новшеством.

Но тогда, когда обдумывал и решал свою судьбу «Однодум», — все это было еще в своем благоустроенном порядке. Губернаторы сидели в своих центрах, как царьки: доступ к ним был труден, и предстояние им «сопряжено со страхом»; они всем норовили говорить «ты», все им кланялись в пояс, а иные, по усердию, даже земно; протопопы их «сретали»* с крестами и святою водою у входа во храмы, а подрукавная знать* чествовала их выражением низменного искательства и едва дерзала, в лице немногих избранных своих представителей, просить их «в восприемники к купели». И они, даже когда соглашались снизойти до такой милости, держали себя царственно: они не ездили крестить сами, а посылали вместо себя чиновников особых поручений или адъютантов*, которые отвозили «ризки»* и принимали почет «в лице пославшего». Все тогда было величественно, степенно и серьезно, под стать тому доброму и серьезному времени, часто

противопоставляемому нынешнему времени, не доброму и не серьезному.

Рыжову вышла прекрасная линия приблизиться к началу градской власти и, не расставаясь с родным Солигаличем, стать на четвертую ступень в государстве: в Солигаличе умер старый квартальный*, и Рыжов задумал проситься на его место.

Глава четвертая

Квартальническое место, хотя и не очень высокое, несмотря на то, что составляло первую ступень ниже городничего, было, однако, довольно выгодно, если только человек, его занимающий, хорошо умел стащить с каждого воза полено дров, пару бураков или кочан капусты; но если он не умел этого, то ему было бы плохо, так как казенного жалованья по этой четвертой в государстве должности полагалось всего десять рублей ассигнациями в месяц, то есть около двух рублей восьмидесяти пяти копеек по нынешнему счету. На это четвертая особа в государстве должна была прилично содержать себя и свою семью, а как это невозможно, то каждый квартальный «донимал» с тех, которые обращались к нему за чем-нибудь «по касающемуся делу». Без этого «донимания» невозможно было обходиться, и даже сами вольтерианцы против этого не восставали*. О «неберущем» квартальном никто и не думал, и потому если все квартальные брали, то должен был брать и Рыжов. Само начальство не могло желать и терпеть, чтобы он портил служебную линию. В этом не могло быть никакого сомнения,

и не могло быть о том никакой речи.

Городничий, к которому Рыжов обратился за квартальничьим местом, разумеется, не задавал себе никакого вопроса о его способности к взятке. Вероятно, он думал, что на этот счет Рыжов будет, как все другие, и потому у них особого договора на этот счет не было. Городничий принял в соображение только его громадный рост, осанистую фигуру и пользовавшуюся большою известностью силу и неутомимость в ходьбе, которую Рыжов доказал своим пешим ношением почты. Все это были качества, очень подходящие для полицейской службы, которой добивался Рыжов, — и он был сделан солигаличским квартальным, а мать его продолжала печь и продавать свои пироги на том самом базаре, где сын ее должен был установить и держать добрые порядки: блюсти вес верный и меру* полную и утрясенную.

Городничий сделал ему только одно внушение:

— Бей без повреждения и по касающему моего не захватывай.

Рыжов обязался это исполнять и пошел действовать, но вскоре же начал подавать о себе странные сомнения, которые стали тревожить

третью особу в государстве, а самого бывшего Алексашку, а ныне Александра Афанасьевича, доводить до весьма тягостных испытаний.

Рыжов с первого же дня службы оказался по должности ретив и исправен: придя на базар, он разместил там возы; рассадил иначе баб с пирогами, помести притом свою мать не на лучшее место. Пьяных мужиков частию урезонил, а частию поучил рукою властною, но с приятностью, так хорошо, как будто им этим большое одолжение сделал, и ничего не взял за науку. В тот же день он отверг и приношение капустных баб, пришедших к нему на поклон по касающему, и еще объявил, что ему по касающему ни от кого ничего и не следует, потому что за все его касающее ему «царь жалует, а мзду брать Бог запрещает».

День провел Рыжов хорошо, а ночь провел еще лучше: обошел весь город, и кого застал на ходу в поздний час, расспросил: откуда, куда и по какой надобности? С добрым человеком поговорил, сам его даже проводил и посоветовал, а одному-другому пьяному ухо надрал, да будошникову жену, которая под коров колдовать ходила, в кутузку запер, а наутро явился к городничему с докладом, что видит себе в деле одну помеху в будошниках.

— Проводят, — говорит, — они время в праздности и спросонья ходят без надобности, — людям по касающему надоедают и сами портятся. Лучше их от ленивой пустоты отрешить и послать к вашему высокоблагородию в огород гряды полоть, а я один все управлю.

Городничему это было не вопреки, а домовитой городничихе совсем по сердцу; одним будошникам могло не нравиться, да закону не соответствовало; но будошников кто думал спрашивать, а закон… городничий судил о нем русским судом: «закон — что конь: куда надо — туда и вороти его». Александр же Афанасьевич выше всего ставил закон: «в поте лица твоего ешь хлеб твой», и по тому закону выходило, что всякие лишние «приставники» — бремя ненужное, которое надо отставить и приставить к какому бы то ни было другому настоящему делу — «потному».

И учредилось это дело, как указал Рыжов, и было оно приятно в очах правителя и народа, и обратило к Рыжову сердца людей благодарных. А Рыжов сам ходит по городу днем, ходит один ночью, и мало-помалу везде стал чувствоваться его добрый хозяйский досмотр, и опять было это приятно в очах всех. Словом, все шло хорошо и обещало покой невозмутимый, но тут-то и беда:

не сварился* народ — не кормил воевод, — ниоткуда ничто не касалося, и, кроме уборки огорода, не было правителю прибылей ни больших, ни средних, ни малых.

Городничий возмутился духом, вник в дело, увидал, что этак невозможно, и воздвиг на Рыжова едкое гонение. Он попросил протопопа разузнать, нет ли в бескасательном* Рыжове какого неправославна, но протопоп отвечал, что явного неправославна в Рыжове он не усматривает, а замечает в нем некую гордыню, происходящую, конечно, от того, что его мать пироги печет и ему отделяет.

— Пресечь советую оный торг, ей ныне по сыну не подобающий, и уничтожится тогда ему оная его непомерная гордыня, и он прикоснется.

— Пресеку, — отвечал городничий и сказал Рыжову: — Твоей матери на торгу сидеть не годится.

— Хорошо, — отвечал Рыжов и взял мать с ночвами с базара, а в укоризненном поведении остался по-прежнему, — не прикасался.

Тогда протопоп указал, что Рыжов не справлял себе форменного платья, и в пасхальный день, скупо похристосовавшись* с одними ближними, не явился с поздравлением ни к кому из имени-

тых граждан, на что те, впрочем, претензии не изъявляли.

Это находилось в зависимости одно от другого. Рыжов не ходил за праздничными, и потому ему не на что было обмундироваться, но обмундировка требовалась, и она была у прежнего квартального. Все видели у него и мундир с воротом, и ретузы, и сапоги с кисточкой, а этот как ходил с почтою, так и оставался в полосатом тиковом бешмете* *с* крючками, в желтых нанковых штанах и в простой крестьянской шапке, а на зиму имел овчинный нагольный тулуп* и ничего иного не заводил, да и не мог завести на *2* руб. 87 коп. месячного жалованья, на которое жил, служа верою и правдою.

К тому же произошел случай, потребовавший денег: умерла мать Рыжова, которой нечего было делать на земле после того, как она не могла на ней продавать пироги.

Александр Афанасьевич схоронил ее, по общему отзыву, «скаредно»*, чем и доказал свою нелюбовь. Он заплатил за нее причту* по малости, но по самой-то пирожнице даже пирога не спек и сорокоуста* не заказал.

Еретик! И это было тем достовернее, что хотя городничий ему не доверял и протопоп в нем

сомневался, но и городничиха и протопопица за него горой стояли, — первая за пригон на ее огород бударей*, а вторая по какой-то тайной причине, лежавшей в ее «характере сопротивления».

В этих особах Александр Афанасьевич имел защитниц. Городничиха сама ему послала от урожая земного две меры картофеля, но он, не развязывая мешков, принес картофель назад на своих плечах и коротко сказал:

— За усердие благодарю, а даров не приемлю.

Тогда протопопица, дама мнительная, поднесла ему две коленкоровые манишки своего древнего рукоделья от тех пор, когда еще протопоп был ставленником, но чудак и этого не взял.

— Нельзя, — говорит, — дары брать, да и, одеваясь по простоте, я никакой в сем щегольстве пользы не нахожу.

Тут и сказала протопопица мужу в злости задорное слово.

— Вот бы, — говорит, — кому пристало у алтаря стоять, а не вам, обиралам духовным.

Протопоп осердился, — велел жене молчать, а сам все лежал да думал:

«Это новость масонская*, и если я ее услежу и открою, то могу быть в большом отличии и даже

могу в Петербург переехать».

Так он этим забредил и с бреду составил план, как обнажить совесть Рыжова до разделения души с телом.

Глава пятая

Подходил Великий пост*, и протопоп, как на ладонке*, видел, каким образом он обнажит душу Рыжова до разделения и тогда будет знать, как поступить с ним по злобе его уклонения от истин православия.

С этою целью он прямо присоветовал городничему прислать к нему на дух* полосатого квартального на первой же неделе. А на духу он обещал его хорошенько пронять и, гневом Божиим припугнув, все от него выведать, что в нем есть тайного и сокровенного и за что он всего касающего чуждается и даров не приемлет. А затем сказал: «Увидим по открытому страхом виду его совести, чему он подлежать будет, и тому его и подвергнем, да спасется дух».

Помянув слова Павла*, протопоп стал ждать покойно, зная, что в них кийждо* своя отыскать может.

Городничий тоже сделал свое дело.

— Нам с тобой, Александр Афанасьевич, как видным лицам в городе, — сказал он, — надо в народе религии пример показать и к церкви сделать почтение.

Рыжов отвечал, что он согласен.

— Изволь же, братец, говеть и исповедаться*.

— Согласен, — отвечал Рыжов.

— И как оба мы люди на виду у всех, то и на виду все это должны сделать, а не как-нибудь прячучись. Я к протопопу на дух хожу, — он всех в духовенстве опытнее, — и ты к нему иди.

— Пойду к протопопу.

— Да; и иди ты на первой неделе, а я на последней пойду, — так и разделимся.

— И на это согласен.

Протопоп выисповедал Рыжова и даже похвалился, что на все корки его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти.

— Каялся, — говорит, — в одном, другом, в третьем, — во всем не свят по малости, но грехи все простые, человеческие, а против начальства особого зла не мыслит и ни на вас, ни на меня «по касающему» доносить не думает. А что «даров не приемлет», — то это по одной вредной фантазии.

— Все же, значит, есть в нем вредная фантазия. А в чем она заключается?

— Библии начитался.

— Ишь его, дурака, угораздило!

— Да, начитался от скуки и позабыть не может.

— Экий дурак! Что же теперь с ним сделать?

— Ничего не сделаешь: он уже очень далеко начитан.

— Неужели до самого до «Христа» дошел?

— Всю, всю прочитал.

— Ну, значит, шабаш.

Пожалели и стали к Рыжову милостивее. На Руси все православные знают, что, кто Библию прочитал и «до Христа дочитался», с того резонных поступков строго спрашивать нельзя; но зато этакие люди что юродивые, — они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся. Впрочем, чтобы быть еще обеспеченнее насчет странного исправления Рыжова «по касающему», отец протопоп преподал городничему мудрый, но жестокий совет, — чтобы женить Александра Афанасьевича.

— Женатый человек, — развивал протопоп, — хотя и «до Христа дочитается», но ему свою честность соблюсти трудно: жена его начнет нажигать и не тем, так другим манером так доймет, что он ей уступит и всю Библию из головы выпустит, а станет к дарам приимчив и начальству предан.

Городничему совет пришел по мыслям, и он заказал Александру Афанасьевичу, чтобы тот как знает, а непременно женился, потому что

холостые люди на политичных должностях ненадежны.

— Как хочешь, — говорит, — брат, а ты мне в рассуждении всего хорош, но в рассуждении одного не годишься.

— Почему?

— Холостой.

— Что же в том за укоризна?

— В том укоризна, что можешь что-нибудь вероломное сделать и сбежать в чужую губернию. Тебе ведь теперь что? — схватил свою бибель* да и весь тут.

— Весь тут.

— Вот это и неблагонадежно.

— А разве женатый благонадежнее?

— И сравненья нет; из женатого я, — говорит, — хоть веревку вей, он все стерпит, потому что он птенцов заведет, да и бабу пожалеет, а холостой сам что птица, — ему доверить нельзя. Так вот — либо уходи, либо женись.

Загадочный чудак, выслушав такое рассуждение, нимало не смутился и отвечал:

— Что же, — и женитьба вещь добрая, она от Бога показана: если требуется — я женюсь.

— Но только ты руби дерево по себе.

— По себе вырублю.

— И выбирай поскорее.

— Да у меня уже выбрана: надо только сходить посмотреть, не взяли ли ее другие.

Городничий над ним посмеялся.

— Ишь ты, — говорит, — греховодник, — будто за ним и греха никогда не водится, а он себе уже и жену высмотрел.

— Где грехам не водиться! — отвечал Александр Афанасьевич, — полон сосуд мерзости, а только невесту я еще не сватал, но действительно на примете имею и прошу позволения сходить на нее взглянуть.

— А где она у тебя, — не здешняя, верно, — дальняя?

— Да так, и не здешняя и не дальняя, — у ручья при болотце живет.

Городничий еще посмеялся, отпустил Рыжова и, заинтересованный, ждет: когда его чудак вернется и что скажет?

Глава шестая

Рыжов действительно срубил дерево по себе: через неделю он привел в город жену — ражую*, белую, румяную, с добрыми карими глазами и с покорностью в каждом шаге и движении. Одета она была по-крестьянски, и шли оба супруга друг за другом, неся на плечах коромысло, на котором висела подвязанная холщовым концом расписная лубочная коробья с приданым.

Бывалые торговые люди сразу узнали в этой особе дочь старой бабы Козлихи, что жила в одинокой избушке у ручья над болотом и слыла злою коддуньею. Все думали, что Рыжов взял себе колдуньину девку в работницы.

Это отчасти так и было, но только Рыжов, прежде чем привести эту работницу домой, — перевенчался с нею. Супружеская жизнь обходилась ему ничуть не дороже холостой; напротив, теперь ему стало даже выгоднее, потому что он, приведя в дом жену, тотчас же отпустил батрачку, которой много ли, мало ли, а все-таки платил рубль медью в месяц. С этих пор медный рубль был у него в кармане, а хозяйство пошло лучше; здоровые руки его жены никогда не были праздны: она себе

и пряла и ткала, да еще оказалась мастерицею валять чулки и огородничать. Словом, жена его была простая досужая крестьянская женщина, верная и покорная, с которою библейский чудак мог жить по-библейски, и рассказать о ней, кроме сказанного, нечего.

Обращение с женою у Александра Афанасьевича было самое простое, но своеобразное: он ей говорил «ты», а она ему «вы»; он звал ее «баба», а она его Александр Афанасьевич; она ему служила, а он был ее господин; когда он с нею заговаривал, она отвечала, — когда он молчал, она не смела спрашивать. За столом он сидел, а она подавала, но ложе у них было общее, и, вероятно, это было причиною, что у них появился плод супружества. Плод был один — единственный сын, которого «баба» выкормила, а в воспитание его не вмешивалась.

Любила ли «баба» своего библейского мужа или не любила — это в их отношениях ничем не проявлялось, но что она была верна своему мужу — это было несомненно. Кроме того, она его боялась, как лица, поставленного над нею законом божеским и имеющего на нее божественное право. Мирному житию ее это не мешало. Грамоте она не знала, и Александр Афанасьевич не желал

пополнять этого пробела в ее воспитании. Жили они, разумеется, спартански, в самой строжайшей умеренности, но не считали это несчастием; этому, может быть, много помогало, что и многие другие жили вокруг не в большем довольстве. Чаю они не пили и не содержали его в заводе, а мясо ели только по большим праздникам — в остальное же время питались хлебом и овощами, квасными или свежими с своего огорода, а всего более грибами, которых росло в изобилии в их лесной стороне. Грибы эти «баба» летнею порою сама собирала по лесам и сама готовила впрок, но, к сожалению ее, заготовляла их только одним способом сушения. Солить было нечем. Расход на соль в потребном количестве для всего запаса не входил в расчет Рыжова, а когда «баба» однажды насолила кадочку груздей солью, которую ей подарил в мешочке откупщик*, то Александр Афанасьевич, дознавшись об этом, «бабу» патриархально побил и свел к протопопу для наложения на нее епитимии* за ослушание против заветов мужа, а грибы целою кадкою собственноручно прикатил к Откупщикову двору и велел взять «куда хотят», а откупщику сделал выговор.

Таков был этот чудак, про которого из долготы

его дней тоже рассказывать много нечего; сидел он на своем месте, делал свое маленькое дело, не пользующееся ничьим особенным сочувствием, и ничьего особенного сочувствия не искал; солигаличские верховоды считали его «поврежденным от Библии», а простецы судили о нем просто, что он «такой-некий-этакой».

Довольно неясное определение это для них имело значение ясное и понятное.

Рыжов нимало не заботился, что о нем думают; он честно служил всем и особенно не угождал никому; в мыслях же своих отчитывался единому, в кого неизменно и крепко верил, именуя его учредителем и хозяином всего сущего. Удовольствие Рыжова состояло в исполнении своего долга, а высший духовный комфорт — философствование о высших вопросах мира духовного и об отражении законов того мира в явлениях и в судьбах отдельных людей и целых царств и народов. Не имел ли Рыжов общей многим самоучкам слабости считать себя всех умнее — это неизвестно, но он не был горд, и своих верований и взглядов он никому никогда не навязывал и даже не сообщал, а только вписывал в большие тетради синей бумаги, которые подшивал в одну обложку с многозначительною надписью: «Однодум».

Что было написано во всей этой громаднейшей рукописи полицейского философа — осталось сокрытым, потому что со смертью Александра Афанасьевича его «Однодум» пропал, да и по памяти о нем много никто рассказать не может. Едва только два-три места из всего «Однодума» были показаны Рыжовым одному важному лицу при одном необычайном случае его жизни, к которому мы теперь приближаемся. Остальные же листы «Однодума», о существовании которого знал почти весь Солигалич, изведены на оклейку стен или, может быть, и сожжены, во избежание неприятностей, так как это сочинение заключало в себе много несообразного бреда и религиозных фантазий, за которые тогда и автора и чтецов посылали молиться в Соловецкий монастырь.

Дух же этой рукописи стал известен с наступающего достопамятного в хрониках Солигалича происшествия.

Глава седьмая

Не могу с точностью вспомнить и не знаю, где справиться, в котором именно году в Кострому был назначен губернатором Сергей Степанович Ланской*, впоследствии граф и известный министр внутренних дел. Сановник этот, по меткому замечанию одного его современника, «имел сильный ум и надменную фигуру», и такая краткая характеристика верна и вполне достаточна для представления, какое нужно иметь о нем нашему читателю.

Можно, кажется, добавить только, что Ланской уважал в людях честность и справедливость и сам был добр, а также любил Россию и русского человека, но понимал его барственно, как аристократ, имевший на все чужеземный взгляд и западную мерку.

Назначение Ланского губернатором в Кострому случилось во время чудаческого служения Александра Афанасьевича Рыжова солигаличским квартальным, и притом еще при некоторых особенных обстоятельствах.

По вступлении Сергея Степановича в должность губернатора он, по примеру многих деятелей,

прежде всего «размел губернию», то есть выгнал со службы великое множество нерадивых и злоупотреблявших своею должностью чиновников, в числе коих был и солигаличский городничий, при котором состоял квартальным Рыжов.

По изгнании со службы негодных лиц новый губернатор не спешил замещать их другими, чтобы не попасть на таких же, а может быть, еще и на худших. Чтобы избрать людей достойных, он хотел оглядеться, или, как нынче по-русски говорят, «ориентироваться».

С этою целью должности удаленных лиц были поручены временным заместителям из младших чиновников, а губернатор вскоре же предпринял объезд всей губернии, затрепетавшей странным трепетом от одних слухов о его «надменной фигуре».

Александр Афанасьевич исправлял должность городничего. Что он делал на этом заместительстве отменного от прежних «сталых» порядков, — этого не знаю; но, разумеется, он не брал взяток на городничестве, как не брал их на своем квартальничестве. Образа жизни своей и отношений к людям Рыжов тоже не менял, — даже не садился на городнический стул перед зерцало*, а подписывался «за городничего», сидя за своим

изъеденным чернилами столиком у входной двери. Этому последнему упорству Рыжов имел объяснение, находящееся в связи с апофеозою его жизни*. У Александра Афанасьевича и после многих лет его службы точно так же, как и в первые дни его квартальничества, *не было форменного платья,* и он правил «за городничего» все в том же просаленном и перештопанном бешмете. А потому на представления письмоводителя пересесть на место он отвечал:

— Не могу: хитон обличает мя, яко несть брачен*.

Все это так и было записано им собственною рукою в его «Однодуме», с добавлением, что письмоводитель предлагал ему «пересесть в бешмете, но снять орла на зерцале», однако Александр Афанасьевич «оставил сию непристойность» и продолжал сидеть на прежнем месте в бешмете.

Делу полицейской расправы в городе эта неформенность не мешала, но вопрос становился совершенно иным, когда пришла весть о приезде «надменной фигуры». Александр Афанасьевич в качестве градоначальника должен был встретить губернатора, принять и рапортовать ему о благосостоянии Солигалича, а также отвечать

на все вопросы, какие Ланской ему предложит, и репрезентовать* ему все достопримечательности города, начиная от собора до тюрьмы, пустырей, оврагов, с которыми никто не знал, что делать.

Рыжов действительно имел задачу: как ему отбыть все это в своем бешмете? Но об этом нимало не заботился, зато много забот причиняло это всем другим, потому что Рыжов своим безобразием мог на первом же шагу прогневить «надменную фигуру». Никому и в голову не приходило, что именно Александру-то Афанасьевичу и предстояло удивить и даже обрадовать всех пугавшую «надменную фигуру» и даже напророчить ему повышение.

Вообще заботливый Александр Афанасьевич нимало не смущался, как он явится, и совсем не разделял общей чиновничьей робости, через что подвергся осуждению и даже ненависти и пал во мнении своих сограждан, но пал с тем, чтобы потом встать всех выше и оставить по себе память героическую и почти баснословную.

Глава восьмая

Не излишне еще раз напомнить, что в те недавние, но глубоко провалившиеся времена, к которым относится рассказ о Рыжове, губернаторы были совсем не то, что в нынешние лукавые дни, когда величие этих сановников значительно пало, или, по выражению некоего духовного летописца, «жестоко подвалишася». Тогда губернаторы ездили «страшно», а встречали их «притрепетно». Течение их совершалось в грандиозной суете, которой работали не только все младшие начальства и власти, но даже и чернь, и четвероногие скоты. Города к приезду губернаторов воспринимали помазание мелом, сажей и охрою; на шлагбаумы заново наводилась национальная пестрядь* казенной трехцветки; бударям и инвалидам внушали «головы и усы наваксить», — из больниц шла усиленная выписка в «оздоровку». Во всеобщем оживлении участвовало все до конец земли; из деревень на тракты сгоняли баб и мужиков, которые по месяцам кочевали, чиня дорожные топи, гати и мосты; на станциях замедляли даже оглашенные курьеры и разные поручики, спешно едущие по

бесчисленным казенным надобностям. Станционные смотрители в эту пору отмещивали неспокойному люду свои нестерпимые обиды и с непоколебимою душевною твер-достию заставляли плестись на каких попало клячах, потому что хорошие лошади «выстаивались» под губернатора. Словом, не было никому ни проходу, ни проезду без того, чтобы он не осязал каким-нибудь из своих чувств, что в природе всех вещей происходит нечто чрезвычайное. Благодаря этому тогда без всякого пустозвонства болтливой прессы всяк, стар и млад, знали, что едет тот, кого нет на всю губернию больше, и все, кто как умел, выражали по этому случаю искреннему своему разнообразные свои чувства. Но самая возвышенная деятельность происходила в центральных гнездах уездного властелинства — в судебных канцеляриях, где дело начиналось с утомительной и скучной отметки регистров*, а кончалось веселою операцией) обметания стен и мытья полов. Поломойство — это было что-то вроде классических оргий в дни сбирания винограда, когда все напряженно ликовало, имея одну заботу: пожить, пока наступит час смертный. В канцелярии за небольшим конвоем кривых инвалидов доставляли из острога смертною скукою соску-

чившихся арестанток, которые, ловя краткий миг счастия, пользовались здесь пленительными правами своего пола — услаждать долю смертных. Декольте* и маншкурт*, с которыми они приступали к работе, столь возбудительно действовали на дежуривших при бумагах молодых приказных, что последствием этого, как известно, в острогах нередко появлялись на свет так называемые «поломойные дети» — не признанного, но несомненно благородного происхождения.

В эти же дни в домах чернили парадные сапоги, белили ретузы и приготовляли слежавшиеся и поточенные молью мундиры. Это тоже оживляло город. Мундиры сначала *провешивали* в жаркий день на солнышке, раскидывая их на протянутых через двор веревках, что ко всяким воротам привлекало множество любопытных; потом мундиры *выбивали* прутьями, растянув на подушке или на войлочке; затем их *трясли,* еще позже их *штопали, утюжили* и, наконец, *раскидывали* на кресле в зале или другой парадной комнате, и в заключение всего — в конце концов их втихомолку кропили из священных бутылочек богоявленскою водой, которая, если ее держать у образа в заткнутой воском посудине, не портится от одного Крещеньева дня до другого и нимало не

утрачивает чудотворной силы, сообщаемой ей в момент погружения креста с пением «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое».

Исходя в Сретение особ, чиновники облекались в окропленные мундиры и в качестве прочего Божия достояния бывали спасаемы. Об этом есть много достоверных сказаний, но при нынешнем всеобщем маловерии и особенно при оффенбаховском* настроении, царящем в чиновном мире, все это уже уронено в общем мнении и в числе многих других освященных временем вещей легкомысленно подвергается сомнению; отцам же нашим, имевшим настоящую, крепкую веру, давалось по их вере.

Ожидание губернатора в те времена длилось долго и мучительно. Железных дорог тогда еще не было, и поезда не подходили в урочный час по расписанию, подвозя губернатора вместе со всеми прочими смертными, а особо заготовлялся тракт, и затем никто не знал с точностью ни дня, ни часа, когда сановник пожалует. Поэтому истома ожидания была продолжительна и полна особенной торжественной тревожности, на самом зените которой находился очередной будочник, обязанный наблюдать тракт с самой высшей в городе колокольни. Он должен был не

задремать, охраняя город от внезапного наезда; но, конечно, случалось, что он дремал и даже спал, и тогда в таких несчастных случаях бывали разные неприятности. Иногда нерадивый страж ударял в малый колокол, подпустив губернатора уже на слишком близкую дистанцию, так что не все чиновники успевали примундириться и выскочить, протопоп облачиться и стать со крестом на сходах, а иногда даже городничий не успевал выехать, стоя в телеге, к заставе. Во избежание этого сторожа заставляли ходить вокруг колокольни и у каждого пролета делать поклон в соответственную сторону.

Это служило сторожу развлечением, а обществу ручательством, что бдящий над ним не спит и не дремлет. Но и эта предосторожность не всегда помогала; случалось, что сторож обладал способностью альбатроса: он спал, ходя и кланяясь, а спросонья бил ложный всполох, приняв за губернатора помещичью карету, и тогда в городе поднималось напрасное смятение, оканчивавшееся тем, что чиновники снова размундиривались и городническая тройка откладывалась, а неосмотрительного стража слегка или не слегка секли.

Подобные трудности встречались часто и

преодолевались нелегко, и притом всею своею тягостью главным образом лежали на городничем, который вперед всех выносился вскачь навстречу, первый принимал на себя начальственные взоры и взрывы и потом опять, стоя же, скакал впереди губернаторской кареты к собору, где у крыльца ожидал протопоп во всем облачении с крестом и кропилом в чаше священной воды. Здесь городничий непременно собственноручно откидывал губернаторскую подножку и этим приемом, так сказать, собственноручно выпускал прибывшую высокую особу на родимую землю из путешественного ковчега. Теперь все это уже не так, все это попорчено, и притом едва ли даже без участия самих губернаторов, в числе коих были охотники «играть на понижение». Нынче они, может быть, и каются, но что уплыло, того не воротят: подножек им никто не откидывает, кроме лакеев и жандармов.

Но исправлявший эту обязанность прежний городничий этим не стеснялся и служил для всех первым пробным камнем; он первый изведывал: лют или благостен прибывший губернатор. И, надо правду сказать, от городничего многое зависело: он мог испортить дело вначале, потому что одною какою-нибудь своею неловкостью мог

разгневать губернатора и заставить его рвать и метать; а мог также одним ловким прыжком, оборотом или иным соответственным вывертом привести его превосходительство в благорасположение.

Теперь каждый, даже не знавший этих патриархальных порядков, читатель может судить, как естественна была тревога солигаличской чиновной знати, которой пришлось иметь своим представителем такого своеобычного, неуклюжего и упрямого городничего, как Рыжов, у которого, вдобавок ко всем его личным неудобным качествам, весь убор состоял в полосатом тиковом бешмете и кошлатой* мужичьей шапке.

Вот что первое должно было ударить прямо в очи «надменной фигуре», о которой уже досужие языки довели до Солигалича самые страшные вести… Чего было ожидать доброго?

Глава девятая

Александр Афанасьевич действительно мог привести кого хотите в отчаяние; он ни о чем не беспокоился и в ожидании губернатора держал себя так, как будто предстоявшее страшное событие его совсем не касалось. Он не сломал ни у одного жителя ни одного забора, ничего не перемазал ни мелом, ни охрою и вообще не предпринимал никаких средств не только к украшению города, но и к изменению своего несообразного костюма, а продолжал прохаживаться в бешмете. На все предлагаемые ему прожекты он отвечал:

— Не должно вводить народ в убытки: разве губернатор изнуритель края? он пусть проедет, а забор пусть останется. — Требования же насчет мундира Рыжов отражал тем, что у него на то нет достатков и что, говорит, имею, — в том и являюсь: Богу совсем нагишом предстану. Дело не в платье, а в рассудке и в совести, — по платью встречают — по уму провожают.

Переупрямить Рыжова никто не надеялся, а между тем это было очень важно не столько для упрямца Рыжова, которому, может быть, и

ничего с его библейской точки зрения, если его второе лицо в государстве сгонит с глаз долой в его бешмете; но это было важно для всех других, потому что губернатор, конечно, разгневается, увидя такую невидаль, как городничий в бешмете. Дорожа первым впечатлением ожидаемого гостя, солигаличские чины добивались только двух вещей: 1) чтобы был перекрашен шлагбаум, у которого Александр Афанасьевич должен встретить губернатора, и 2) чтобы сам Александр Афанасьевич был на этот случай не в полосатом бешмете, а в приличной его званию форме. Но как этого достигнуть?

Мнения были различные, и более склонялись все к тому, чтобы и шлагбаум перекрасить и городничего одеть в складчину. В отношении шлагбаума это было, конечно, удобно, но по отношению к обмундировке Рыжова никуда не годилось.

Он сказал: «Это дар, а я даров не приемлю». Тогда восторжествовало над всеми предложение, которое подал зрелый в сужденье отец протопоп. Он не видал нужды ни в какой складчине ни на окраску заставы, ни на форму градоправителя, а сказал, что все должно лечь на того, кто всех провиннее, а всех провиннее, по его мнению, был

откупщик. На него все должно и пасть. Он один обязан на свой собственный счет не по неволе какой, а из усердия окрасить заставу, за что протопоп обещал, сретая* губернатора, упомянуть об этом в кратком слове и, кроме того, помолиться о жертвователе в тайноглаголемой* запрестольной молитве. Кроме того, отец протопоп рассудил, что откупщик должен дать заседателю*, сверх ординарии*, тройную порцию рому, французской водки и кизлярки, до которых заседатель охоч. И пусть заседатель за то отрапортуется больным и пьет себе дома эту добавочную ординарию и на улицу не выходит, а свой мундир, одной с полицейским формы, отпустит Рыжову, от чего сей последний, вероятно, не найдет причины отказаться, и будут тогда и овцы целы и волки сыты.

План этот тем более был удачен, что непременный заседатель ростом-дородством несколько походил на Рыжова, и притом, женясь недавно на купеческой дочери, имел мундирную пару в полном порядке. Следовательно, оставалось только упросить его, чтобы он для общего блага к приезду начальства слег в постель под видом тяжкой болезни и сдал свою амуницию на этот случай Рыжову, которого отец протопоп, надеясь на свой духовный авторитет, тоже взялся убедить

— и убедил. Не видя в этом ни даров, ни мзды, справедливый Александр Афанасьевич, для общего счастия, согласился надеть мундир. Произведена была примерка и пригонка форменной пары заседателя на Рыжова, и после некоторого выпуска со всех сторон всех запасов в мундире и в ретузах дело было приведено к удовлетворительному результату. Александр Афанасьевич хотя чувствовал в мундире весьма стеснительную связанность, но мог, однако, двигаться и все-таки был теперь сносным представителем власти. Небольшой же белый карниз между мундиром и канифасовыми* ретузами положено было закрыть соответственною же канифасовою надшивкою, которою этот карниз был удачно замаскирован. Словом, Александр Афанасьевич был снаряжен так, что губернатор мог повернуть его на все стороны и полюбоваться им так и иначе. Но злому року угодно было все это осмеять и оставить Александру Афанасьевичу надлежащую представительность только с одной стороны, а другую совсем испортить, и притом таким двусмысленным образом, что могло дать повод к самым произвольным толкованиям его и без того загадочного политического образа мыслей.

Глава десятая

Шлагбаум был окрашен во все цвета национальной пестряди, состоящей из черных и белых полос с красными отводами, и еще не успел запылиться, как пронеслась весть, что губернатор уже выехал из соседнего города и держит путь прямо на Солигалич. Тотчас же везде были поставлены махальные солдаты, а у забора бедной хибары Рыжова глодала землю резвая почтовая тройка с телегою, в которую Александр Афанасьевич должен был вспрыгнуть при первом сигнале и скакать навстречу «надменной фигуре».

В последнем условии было чрезвычайно много неудобной сложности, исполнявшей все вокруг беспокойной тревогой, которую очень не любил самообладающий Рыжов. Он решился «быть всегда на своем месте»: перевел тройку от своего забора к заставе и сам в полном наряде — в мундире и белых ретузах, с рапортом за бортом, сел тут же на раскрашенную перекладину шлагбаума и водворился здесь, как столпник*, а вокруг него собрались любопытные, которых он не прогонял, а, напротив, вел с ними беседу и среди этой беседы сподобился увидать, как на тракте заклубилось

пыльное облако, из которого стала вырезаться пара выносных с форейтором, украшенным медными бляхами. Это катил губернатор.

Рыжов быстро спрыгнул в телегу и хотел скакать, как вдруг был поражен общим стоном и вздохом толпы, крикнувшей ему:

— Батюшка, сбрось штанцы!

— Что такое? — переспросил Рыжов.

— Штанцы сбрось, батюшка, штанцы, — отвечали люди. — Погляди-ка, на коем месте сидел, так к белому весь шланбов* припечатал.

Рыжов оглянулся через плечо и увидел, что все невысохшие полосы национальных цветов шлагбаума действительно с удивительною отчетливостью отпечатались на его ретузах.

Он поморщился, но сейчас же вздохнул и сказал: «Сюда начальству глядеть нечего» и пустил вскачь тройку навстречу «надменной особе».

Люди только руками махнули:

— Отчаянный! что-то ему теперь будет?

Глава одиннадцатая

Скороходы из этой же толпы быстро успели дать знать в собор духовенству и набольшим, в каком двусмысленном виде встретит губернатора Рыжов, но теперь уже всем было самому до себя.

Всех страшнее было протопопу, потому что чиновники притаились в церкви, а он с крестом в руках стоял на сходах. Его окружал очень небольшой причет, из коего вырезались две фигуры: приземистый дьякон с большой головой и длинноногий дьячок в стихаре с священною водою в «апликовой» чаше*, которая ходуном ходила в его оробевших руках. Но вот трепет страха сменился окаменением: на площади показалась борзо скачущая тройкою почтовая телега, в которой с замечательным достоинством возвышалась гигантская фигура Рыжова. Он был в шляпе, в мундире с красным воротом и в белых ретузах с надшитым канифасовым карнизом, что издали решительно ничего не портило. Напротив, он всем казался чем-то величественным, и действительно таким и должен был казаться. Твердо стоя на скачущей телеге, на облучке которой подпрыгивал ямщик, Александр Афанасьевич не

колебался ни направо, ни налево, а плыл точно на колеснице как триумфатор, сложив на груди свои богатырские руки и обдавая целым облаком пыли следовавшую за ними шестериком коляску и легкий тарантасик. В этом тарантасе ехали чиновники. Ланской помещался один в карете и, несмотря на отличавшую его солидную важность, был, по-видимому, сильно заинтересован Рыжовым, который летел впереди его, стоя, в кургузом мундире, нимало не закрывавшем разводы национальных цветов на его белых ретузах. Очень возможно, что значительная доля губернаторского внимания была привлечена именно этою странностию, значение которой не так легко было понять и определить.

Телега в свое время своротила в сторону, и Александр Афанасьевич в свое время соскочил и открыл дверцу у губернаторской кареты.

Ланской вышел, имея, как всегда, неизменно «надменную фигуру», в которой, впрочем, содержалось довольно доброе сердце. Протопоп, осенив его крестом, сказал: «Благословен грядый* во имя Господне» — и затем покропил его легонько священной водою.

Сановник приложился ко кресту, отер батистовым платком попавшие ему на надменное

чело капли и вступил первый в церковь. Все это происходило на самом виду у Александра Афанасьевича и чрезвычайно ему не понравилось, — все было «надменно». Неблагоприятное впечатление еще более усилилось тем, что, вступив в храм, губернатор не положил на себя креста и никому не поклонился — ни алтарю*, ни народу — и шел как шест, не сгибая головы, к амвону*.

Это было против всех правил Рыжова по отношению к богопочитанию и к обязанностям высшего быть примером для низших, — и благочестивый дух его всколебался и поднялся на высоту невероятную. Рыжов все шел следом за губернатором, и по мере того, как Ланской приближался к солее*, Рыжов все больше и больше сокращал расстояние между ним и собою и вдруг неожиданно схватил его за руку и громко произнес:

— Раб Божий Сергий! входи во храм Господень не надменно, а смиренно, представляя себя самым большим грешником, — вот как!

С этим он положил губернатору руку на спину и, степенно нагнув его в полный поклон, снова отпустил и стал навытяжку.

Глава двенадцатая

Очевидец, передававший эту анекдотическую историю о солигаличском антике*, ничего не говорил, как принял это бывший в храме народ и начальство. Известно только, что никто не имел отваги, чтобы заступиться за нагнутого губернатора и остановить бестрепетную руку Рыжова, но о Ланском сообщают нечто подробнее. Сергей Степанович не подал ни малейшего повода к продолжению беспорядка, а, напротив, «сменил свою горделивую надменность умным самообладанием». Он не оборвал Александра Афанасьевича и даже не сказал ему ни слова, но перекрестился и, оборотись, поклонился всему народу, а затем скоро вышел и отправился на приготовленную ему квартиру.

Здесь Ланской принял чиновников — коронных* и выборных и тех из них, которые ему показались достойными большего доверия, расспросил о Рыжове: что это за человек и каким образом он терпится в обществе.

— Это наш квартальный Рыжов, — отвечал ему голова*.

— Что же он… вероятно, в помешательстве?

— Никак нет: просто всегда *такой.*

— Так зачем же держать *такого* на службе?

— Он по службе хорош.

— Дерзок.

— Самый смирный: на шею ему старший сядь, — рассудит: «поэтому везть надо» — и повезет, но только он много в Библии начитавшись и через то расстроен.

— Вы говорите несообразное: Библия — книга божественная.

— Это точно так, только ее не всякому честь пристойно: в иночестве от нее страсть мечется, а у мирских людей ум мешается.

— Какие пустяки! — возразил Ланской и продолжал расспрашивать: — А как он насчет взяток: умерен ли?

— Помилуйте, — говорит голова, — он совсем ничего не берет…

Губернатор еще больше не поверил.

— Этому, — говорит, — я уже ни за что не поверю.

— Нет; действительно не берет.

— А как же, — говорит, — он какими средствами живет?

— Живет на жалованье.

— Вы вздор мне рассказываете: такого человека

во всей России нет.

— Точно, — отвечает, — нет; но у нас такой объявился.

— А сколько ему жалованья положено?

— В месяц десять рублей.

— Ведь на это, — говорит, — овцу прокормить нельзя.

— Действительно, — говорит, — мудрено жить — только он живет.

— Отчего же так всем нельзя, а он обходится?

— Библии начитался.

— Хорошо, «Библии начитался», а что же он ест?

— Хлеб да воду.

И тут голова и рассказал о Рыжове, каков он во всех делах своих.

— Так это совсем удивительный человек! — воскликнул Ланской и велел позвать к себе Рыжова.

Александр Афанасьевич явился и стал у притолки, иже по подчинению.

— Откуда вы родом? — спросил его Ланской.

— Здесь, на Нижней улице, родился, — отвечал Рыжов.

— А где воспитывались?

— Не имел воспитания… у матери рос, а матушка пироги пекла.

— Учились где-нибудь?
— У дьячка.
— Исповедания какого?
— Христианин.
— У вас очень странные поступки.
— Не замечаю: всякому то кажется странно, что самому не свойственно.



Ланской подумал, что это вызывающий, дерзкий намек, и, строго взглянув на Рыжова, резко спросил:

— Не держитесь ли вы какой-нибудь секты?

— Здесь нет секты: я в собор хожу.

— Исповедуетесь?

— Богу при протопопе каюсь.

— Семья у вас есть?

— Есть жена с сыном.

— Жалованье малое получаете?

Никогда не смеявшийся Рыжов улыбнулся.

— Беру, — говорит, — в месяц десять рублей, а не знаю: как это — много или мало.

— Это не много.

— Доложите государю, что для лукавого раба это мало.

— А для верного?

— Достаточно.

— Вы, говорят, никакими статьями не пользуетесь?

Рыжов посмотрел и промолчал.

— Скажите по совести: быть ли это может так?

— А отчего же не может быть?

— Очень малые средства.

— Если иметь великое обуздание, то и с малыми средствами обойтись можно.

— Но зачем вы не проситесь на другую должность?

— А кто же эту занимать станет?

— Кто-нибудь другой.

— Разве он лучше меня справит?

Теперь Ланской улыбнулся: квартальный совсем заинтересовал его не чуждую теплоты душу.

— Послушайте, — сказал он, — вы чудак; я вас прошу сесть.

Рыжов сел vis-a-vis[2] с «надменным».

— Вы, говорят, знаток Библии?

— Читаю, сколько время позволяет, и вам советую.

— Хорошо; но… могу ли я вас уверить, что вы можете со мною говорить совсем откровенно и по справедливости.

— Ложь заповедью запрещена — я лгать не стану.

— Хорошо. Уважаете ли вы власти?

— Не уважаю.

— За что?

— Ленивы, алчны и пред престолом криводушны, — отвечал Рыжов.

---

[2] Примечания: 2
Друг против друга *(фр.).*

— Да, вы откровенны. Благодарю. Вы тоже пророчествуете?

— Нет; а по Библии вывожу, что ясно следует.

— Можете ли вы мне показать хоть один ваш вывод?

Рыжов отвечал, что может, — и сейчас же принес целый оберток бумаги* с надписью «Однодум».

— Что тут есть пророчественного о прошлом и сбывшемся? — спросил Ланской.

Квартальный перемахнул знакомые страницы и прочитал: «Государыня* в переписке с Вольтером назвала его вторым Златоустом*. За сие несообразное сравнение жизнь нашей монархини не будет иметь спокойного конца».

На отлинеенном поле против этого места отмечено: «Исполнилось при огорчительном сватовстве Павла Петровича».

— Покажите еще что-нибудь.

Рыжов опять заметал страницы и указал новое место, которое все заключалось в следующем: «Издан указ о попенном сборе*. Отныне хлад бедных хижин усилится. Надо ожидать особенного наказания». И на поле опять отметка: «Исполнилось, — зри страницу такую-то», а на той странице запись о кончине юной дочери им-

ператора Александра Первого с отметкою: «Сие последовало за назначение налога на лес».

— Но позвольте однако, — спросил Ланской, — ведь леса составляют собственность?

— Да; а греть воздух в жилье составляет потребность.

— Вы против собственности?

— Нет; я только чтобы всем тепло было в стужу. Не надо давать лесов тем, кому и без того тепло.

— А как вы судите о податях: следует ли облагать людей податью?

— Надо наложить, и еще прибавить на всякую вещь роскошную, чтобы богатый платил казне за бедного.

— Гм, гм! вы ниоткуда это учение не почерпаете?

— Из Священного Писания и моей совести.

— Не руководят ли вас к сему иные источники нового времени?

— Все другие источники не чисты и полны суемудрия.

— Теперь скажите в последнее: как вы не боитесь ни того, что пишете, ни того, что со мною в церкви сделали?

— Что пишу, то про себя пишу, а что в храме сделал, то должен был учинить, цареву власть

оберегаючи.

— Почему цареву?

— Дабы видели все его слуг к вере народной почтительными.

— Но ведь я мог с вами обойтись совсем не так, как обхожусь.

Рыжов посмотрел на него «с *сожалением»* и отвечал:

— А какое же зло можно сделать тому, кто на десять рублей в месяц умеет с семьей жить?

— Я мог велеть вас арестовать.

— В остроге сытей едят.

— Вас сослали бы за эту дерзость.

— Куда меня можно сослать, где бы мне было хуже и где бы Бог мой оставил меня? Он везде со мною, а кроме его никого не страшно.

Надменная шея склонилась, и левая рука Ланского простерлась к Рыжову.

— Характер ваш почтенен, — сказал он и велел ему выйти.

Но, по-видимому, он еще не совсем доверял этому библейскому социалисту и спросил о нем лично сам несколько простолюдинов.

Те, покрутя рукой в воздухе, в одно слово отвечали:

— Он у нас такой-некий-этакой.

Более положительного из них о нем никто не знал.

Прощаясь, Ланской сказал Рыжову:

— Я о вас не забуду и совет ваш исполню — прочту Библию.

— Да только этого мало, а вы и на десять рублей в месяц жить поучитесь, — добавил Рыжов.

Но этого совета Ланской уже не обещал исполнить, а только засмеялся, опять подал ему руку и сказал:

— Чудак, чудак!

Сергей Степанович уехал, а Рыжов унес к себе домой своего «Однодума» и продолжал писать в нем, что изливали его наблюдательность и пророческое вдохновение.

Глава тринадцатая

Со времени проезда Ланского прошло довольно времени, и события, сопровождавшие этот проезд через Солигалич, уже значительно позабылись и затерлись ежедневною сутолокою, как вдруг нежданно-негаданно, на дивное диво не только Солигаличу, а всей просвещенной России, в обревизованный город пришло известие совершенно невероятное и даже в стройном порядке правления невозможное: квартальному Рыжову был прислан дарующий дворянство владимирский крест — первый владимирский крест, пожалованный квартальному.

Самый орден приехал вместе с предписанием возложить его и носить по установлению. И крест и грамота были вручены Александру Афанасьевичу с объявлением, что удостоен он сея чести и сего пожалования по представлению Сергея Степановича Ланского.

Рыжов принял орден, посмотрел на него и проговорил вслух:

— Чудак, чудак! — Ав «Однодуме» против имени Ланского отметил: «Быть ему графом», — что, как известно, и исполнилось. Носить же ордена

Рыжову было не на чем.

Кавалер Рыжов жил почти девяносто лет, аккуратно и своеобразно отмечая все в своем «Однодуме», который, вероятно, издержан при какой-нибудь уездной реставрации на оклейку стен. Умер он, исполнив все христианские требы по установлению православной церкви, хотя православие его, по общим замечаниям, было «сомнительно». Рыжов и в вере был человек такой-некий-этакой, но при всем том, мне кажется, в нем можно видеть кое-что кроме «одной дряни», — чем и да будет он помянут в самом начале розыска о «трех праведниках»*.

Зверь

И звери внимаху святое слово.
Житие старца Серафима*



Глава первая

Отец мой был известный в свое время следователь. Ему поручали много важных дел, и потому он часто отлучался от семейства, а дома оставались мать, я и прислуга.

Матушка моя тогда была еще очень молода, а я — маленький мальчик.

При том случае, о котором я теперь хочу рассказать, — мне было всего только пять лет.

Была зима, и очень жестокая. Стояли такие холода, что в хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченелые. Отец мой находился об эту пору по служебным обязанностям в Ельце и не обещал приехать домой даже к Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама к нему съездить, чтобы не оставить его одиноким в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю ужасных холодов, мать не взяла с собою в дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, а моей тетки, которая была замужем за одним орловским помещиком, про которого ходила невеселая слава. Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладали злобность и

неумолимость, и он об этом нимало не сожалел, а напротив, даже щеголял этими качествами, которые, по его мнению, служили будто бы выражением мужественной силы и непреклонной твердости Духа.

Такое же мужество и твердость он стремился развить в своих детях, из которых один сын был мне ровесник.

Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел «развить мужество», и один раз, когда мне было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он выставил меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от страха во время грозы.

Понятно, что я в доме такого хозяина гостил неохотно и с немалым страхом, но мне, повторяю, тогда было пять лет, и мои желания не принимались в расчет при соображении обстоятельств, которым приходилось подчиняться.

Глава вторая

В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание *с* круглым куполом и с башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комнатах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшным; но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом, изогнутом окне были натянуты струны, то есть была устроена так называемая «Эолова арфа». Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сонм, пораженный страхом, гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе… Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря и

арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит и наутро встает мрачный и суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов.

В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми разделяли и звери.

Глава третья

Покойный дядя был страстный любитель псовой охоты. Он ездил с борзыми и травил волков, зайцев и лисиц. Кроме того, в его охоте были особенные собаки, которые брали медведей. Этих собак называли «пьявками». Они впивались в зверя так, что их нельзя было от него оторвать. Случалось, что медведь, в которого впивалась зубами пьявка, убивал ее ударом своей ужасной лапы или разрывал ее пополам, но никогда не бывало, чтобы пьявка отпала от зверя живая.

Теперь, когда на медведей охотятся только облавами или с рогатиной, порода собак-пьявок, кажется, совсем уже перевелась в России; но в то время, о котором я рассказываю, они были почти при всякой хорошо собранной, большой охоте. Медведей в нашей местности тогда тоже было очень много, и охота за ними составляла большое удовольствие.

Когда случалось овладевать целым медвежьим гнездом, то из берлоги брали и привозили маленьких медвежат. Их обыкновенно держали в большом каменном сарае с маленькими окнами, проделанными под самой крышей. Окна эти

были без стекол, с одними толстыми, железными решетками. Медвежата, бывало, до них вскарабкивались друг по дружке и висели, держась за железо своими цепкими, когтистыми лапами. Только таким образом они и могли выглядывать из своего заключения на вольный свет Божий.

Когда нас выводили гулять перед обедом, мы больше всего любили ходить к этому сараю и смотреть на выставлявшиеся из-за решеток смешные мордочки медвежат. Немецкий гувернер Кольберг умел подавать им на конце палки кусочки хлеба, которые мы припасали для этой цели за своим завтраком.

За медведями смотрел и кормил их молодой доезжачий, по имени Ферапонт; но как это имя было трудно для простонародного выговора, то его произносили «Храпон» или еще чаще «Храпошка». Я его очень хорошо помню: Храпошка был среднего роста, очень ловкий, сильный и смелый парень лет двадцати пяти. Храпон считался красавцем — он был бел, румян, с черными кудрями и с черными же большими глазами навыкате. К тому же он был необычайно смел. У него была сестра Аннушка, которая состояла в поднянях, и она рассказывала нам презанимательные вещи про смелость своего удалого брата

и про его необыкновенную дружбу с медведями, с которыми он зимою и летом спал вместе в их сарае, так что они окружали его со всех сторон и клали на него свои головы, как на подушку.

Перед домом дяди, за широким круглым цветником, окруженным расписною решеткою, были широкие ворота, а против ворот посреди куртины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли «мачта». На вершине этой мачты был прилажен маленький помостик, или, как его называли, «беседочка».

Из числа пленных медвежат всегда отбирали одного «умного», который представлялся наиболее смышленым и благонадежным по характеру. Такого отделяли от прочих собратий, и он жил на воле, то есть ему дозволялось ходить по двору и по парку, но главным образом он должен был содержать караульный пост у столба перед воротами. Тут он и проводил большую часть своего времени, или лежа на соломе у самой мачты, или же взбирался по ней вверх до «беседки» и здесь сидел или тоже спал, чтобы к нему не приставали ни докучные люди, ни собаки.

Жить такою привольною жизнью могли не все медведи, а только некоторые, особенно умные и кроткие, и то не во всю их жизнь, а пока они не

начинали обнаруживать своих зверских, неудобных в общежитии наклонностей, то есть пока они вели себя смирно и не трогали ни кур, ни гусей, ни телят, ни человека.

Медведь, который нарушал спокойствие жителей, немедленно же был осуждаем на смерть, и от этого приговора его ничто не могло избавить.

Глава четвертая

Отбирать «смышленого медведя» должен был Храпон. Так как он больше всех обращался с медвежатами и почитался большим знатоком их натуры, то понятно, что он один и мог это делать. Храпон же и отвечал за то, если сделает неудачный выбор, — но он с первого же раза выбрал для этой роли удивительно способного и умного медведя, которому было дано необыкновенное имя: медведей в России вообще зовут «мишками», а этот носил испанскую кличку «Сганарель». Он уже пять лет прожил на свободе и не сделал еще ни одной «шалости». — Когда о медведе говорили, что «он шалит», это значило, что он уже обнаружил свою зверскую натуру каким-нибудь нападением.

Тогда «шалуна» сажали на некоторое время в «яму», которая была устроена на широкой поляне между гумном и лесом, а через некоторое время его выпускали (он сам вылезал *по бревну*) на поляну и тут его травили «молодыми пьявками» (то есть подрослыми щенками медвежьих собак). Если же щенки не умели его взять и была опасность, что зверь уйдет в лес, то тогда стоявшие в

запасном «секрете» два лучших охотника бросались на него с отборными опытными сворами, и тут делу наставал конец.

Если же эти собаки были так неловки, что медведь мог прорваться «к острову» (то есть к лесу), который соединялся с обширным брянским полесьем, то выдвигался особый стрелок, с длинным и тяжелым кухенрейтеровским штуцером*, и, прицелясь «с сошки»*, посылал медведю смертельную пулю.

Чтобы медведь когда-либо ушел от всех этих опасностей, такого случая еще никогда не было, да страшно было и подумать, если бы это могло случиться: тогда всех в том виноватых ждали бы смертоносные наказания.

Глава пятая

Ум и солидность Сганареля сделали то, что описанной потехи или медвежьей казни не было уже целые пять лет. В это время Сганарель успел вырасти и сделался большим, *матерым* медведем, необыкновенной силы, красоты и ловкости. Он отличался круглою, короткою мордою и довольно стройным сложением, благодаря которому напоминал более колоссального грифона* или пуделя, чем медведя. Зад у него был суховат и покрыт невысокою лоснящеюся шерстью, но плечи и загорбок были сильно развиты и покрыты длинною и мохнатою растительностью. Умен Сганарель был тоже как пудель и знал некоторые замечательные для зверя его породы приемы: он, например, отлично и легко ходил на двух задних лапах, подвигаясь вперед передом и задом, умел бить в барабан, маршировал с большою палкою, раскрашенною в виде ружья, а также охотно и даже с большим удовольствием таскал с мужиками самые тяжелые кули на мельницу и с своеобразным шиком пресмешно надевал себе на голову высокую мужичью островерхую шляпу с павлиным пером или с соломенным пучком

вроде султана.

Но пришла роковая пора — звериная натура взяла свое и над Сганарелем. Незадолго перед моим прибытием в дом дяди тихий Сганарель вдруг провинился сразу несколькими винами, из которых притом одна была другой тяжче.

Программа преступных действий у Сганареля была та же самая, как и у всех прочих: для первоученки он взял и оторвал крыло гусю; потом положил лапу на спину бежавшему за маткою жеребенку и переломил ему спину; а наконец: ему не понравились слепой старик и его поводырь, и Сганарель принялся катать их по снегу, причем пооттоптал им руки и ноги.

Слепца с его поводырем взяли в больницу, а Сганареля велели Храпону отвести и посадить в яму, откуда был только один выход — *на казнь*...

Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в то время моего двоюродного брата, рассказала нам, что при отводе Сганареля в яму, в которой он должен был ожидать смертной казни, произошли очень большие трогательности. Храпон не продергивал в губу Сганареля «больнички»*, или кольца, и не употреблял против него ни малейшего насилия, а только сказал:

— Пойдем, зверь, со мною.

Медведь встал и пошел, да еще что было смешно — взял свою шляпу с соломенным султаном и всю дорогу до ямы шел с Храпоном обнявшись, точно два друга.

Они таки и были друзья.

Глава шестая

Храпону было очень жаль Сганареля, но он ему ничем пособить не мог. — Напоминаю, что там, где это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась, и скомпрометировавший себя Сганарель непременно должен был заплатить за свои увлечения лютой смертью.

Травля его назначалась как послеобеденное развлечение для гостей, которые обыкновенно съезжались к дяде на Рождество. Приказ об этом был уже отдан на охоте в то же самое время, когда Храпону было велено отвести виновного Сганареля и посадить его в яму.

Глава седьмая

В яму медведей сажали довольно просто. Люк, или творило* ямы, обыкновенно закрывали легким хворостом, накиданным на хрупкие жерди, и посыпали эту покрышку снегом. Это было маскировано так, что медведь не мог заметить устроенной ему предательской ловушки. Покорного зверя подводили к этому месту и заставляли идти вперед. Он делал шаг или два и неожиданно проваливался в глубокую яму, из которой не было никакой возможности выйти. Медведь сидел здесь до тех пор, пока наступало время его травить. Тогда в яму опускали в наклонном положении длинное, аршин* семи, бревно, и медведь вылезал по этому бревну наружу. Затем начиналась травля. Если же случалось, что сметливый зверь, предчувствуя беду, не хотел выходить, то его понуждали выходить, беспокоя длинными шестами, на конце которых были острые железные наконечники, бросали зажженную солому или стреляли в него холостыми зарядами из ружей и пистолетов.

Храпон отвел Сганареля и заключил его под арест по этому же самому способу, но сам вернул-

ся домой очень расстроенный и опечаленный. На свое несчастие, он рассказал своей сестре, как зверь шел с ним «ласково» и как он, провалившись сквозь хворост в яму, сел там на днище и, сложив передние лапы, как руки, застонал, точно заплакал.

Храпон открыл Анне, что он бежал от этой ямы бегом, чтобы не слыхать жалостных стонов Сганареля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца.

— Слава Богу, — добавил он, — что не мне, а другим людям велено в него стрелять, если он уходить станет. А если бы мне то было приказано, то я лучше бы сам всякие муки принял, но в него ни за что бы не выстрелил.

Глава восьмая

Анна рассказала это нам, а мы рассказали гувернеру Кольбергу, а Кольберг, желая чем-нибудь позанять дядю, передал ему. Тот это выслушал и сказал: «Молодец Храпошка», а потом хлопнул три раза в ладоши.

Это значило, что дядя требует к себе своего камердинера Устина Петровича, старичка из пленных французов двенадцатого года.

Устин Петрович, иначе Жюстин, явился в своем чистеньком лиловом фрачке с серебряными пуговицами, и дядя отдал ему приказание, чтобы к завтрашней «садке»*, или охоте на Сганареля, стрелками в секретах были посажены Флегонт — известнейший стрелок, который всегда бил без промаха, а другой Храпошка. Дядя, очевидно, хотел позабавиться над затруднительною борьбою чувств бедного парня. Если же он не выстрелит в Сганареля или нарочно промахнется, то ему, конечно, тяжело достанется, а Сганареля убьет вторым выстрелом Флегонт, который никогда не дает промаха.

Устин поклонился и ушел передавать приказание, а мы, дети, сообразили, что мы наделали

беды и что во всем этом есть что-то ужасно тяжелое, так что Бог знает, как это и кончится. После этого нас не занимали по достоинству ни вкусный рождественский ужин, который справлялся «при звезде», за один раз с обедом, ни приехавшие на ночь гости, из коих с некоторыми были и дети.

Нам было жаль Сганареля, жаль и Ферапонта, и мы даже не могли себе решить, кого из них двух мы больше жалеем.

Оба мы, то есть я и мой ровесник — двоюродный брат, долго ворочались в своих кроватках. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что нам обоим представлялся медведь. А когда няня нас успокоивала, что медведя бояться уже нечего, потому что он теперь сидит в яме, а завтра его убьют, то мною овладевала еще большая тревога.

Я даже просил у няни вразумления: нельзя ли мне помолиться за Сганареля? Но такой вопрос был выше религиозных соображений старушки, и она, позевывая и крестя рот рукою, отвечала, что наверно она об этом ничего не знает, так как ни разу о том у священника не спрашивала, но что, однако, медведь — тоже Божие создание, и он плавал с Ноем в ковчеге.

Мне показалось, что напоминание о плаванье в

ковчеге вело как будто к тому, что беспредельное милосердие Божие может быть распространено не на одних людей, а также и на прочие Божьи создания, и я с детскою верою стал в моей кроватке на колени и, припав лицом к подушке, просил величие Божие не оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить Сганареля.

Глава девятая

Наступил день Рождества. Все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и боннами к чаю. В зале, кроме множества родных и гостей, стояло духовенство: священник, дьякон и два дьячка.

Когда вошел дядя, причт запел «Христос рождается». Потом был чай, потом вскоре же маленький завтрак и в два часа ранний праздничный обед. Тотчас же после обеда назначено было отправляться травить Сганареля. — Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темноте травля невозможна и медведь легко может скрыться из вида.

Исполнилось все так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы везти на травлю Сганареля. Надели наши заячьи шубки и лохматые, с круглыми подошвами, сапоги, вязанные из козьей шерсти, и повели усаживать в сани. А у подъездов с той и с другой стороны дома уже стояло множество длинных больших троечных саней, покрытых узорчатыми коврами, и тут же два стременных держали под уздцы дядину верховую английскую рыжую лошадь, по

имени Щеголиха.

Дядя вышел в лисьем архалуке* и в лисьей остроконечной шапке, и, как только он сел на седло, покрытое черною медвежьею шкурою с пахвами и паперсями*, убранными бирюзой и «змеиными головками», весь наш огромный поезд тронулся, а через десять или пятнадцать минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Все сани были расположены полуоборотом к обширному, ровному, покрытому снегом полю, которое было окружено цепью верховых охотников и вдали замыкалось лесом.

У самого леса были сделаны секреты или тайники за кустами, и там должны были находиться Флегонт и Храпошка.

Тайников этих не было видно, и некоторые указывали только на едва заметные «сошки», с которых один из стрелков должен был прицелиться и выстрелить в Сганареля.

Яма, где сидел медведь, тоже была незаметна, и мы поневоле рассматривали красивых вершников*, у которых за плечом было разнообразное, но красивое вооружение: были шведские Штрабусы, немецкие Моргенраты, английские Мортимеры и варшавские Колеты*.

Дядя стоял верхом впереди цепи. Ему подали в

руки свору от двух сомкнутых злейших «пьявок», а перед ним положили у орчака* на вальтрап* белый платок.

Молодые собаки, для практики которых осужден был умереть провинившийся Сганарель, были в огромном числе и все вели себя крайне самонадеянно, обнаруживая пылкое нетерпение и недостаток выдержки. Они визжали, лаяли, прыгали и путались на сворах вокруг коней, на которых сидели одетые в форменное платье доезжачие, а те беспрестанно хлопали арапниками*, чтобы привести молодых, не помнивших себя от нетерпения псов к повиновению. Все это кипело желанием броситься на зверя, близкое присутствие которого собаки, конечно, открыли своим острым природным чутьем.

Настало время вынуть Сганареля из ямы и пустить его на растерзание!

Дядя махнул положенным на его вальтрап белым платком и сказал: «Делай!»

Глава десятая

Из кучки охотников, составлявших главный штаб дяди, выделилось человек десять и пошли вперед через поле.

Отойдя шагов двести, они остановились и начали поднимать из снега длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры нам издалека нельзя было видеть.

Это происходило как раз у самой ямы, где сидел Сганарель, но она тоже с нашей далекой позиции была незаметна.

Дерево подняли и сейчас же спустили одним концом в яму. Оно было спущено с таким пологим уклоном, что зверь без затруднения мог выйти по нем, как по лестнице.

Другой конец бревна опирался на край ямы и торчал из нее на аршин.

Все глаза были устремлены на эту предварительную операцию, которая приближала к самому любопытному моменту. Ожидали, что Сганарель сейчас же должен был показаться наружу; но он, очевидно, понимал, в чем дело, и ни за что не шел.

Началось гонянье его в яме снежными комьями

и шестами с острыми наконечниками, послышался рев, но зверь не шел из ямы. Раздалось несколько холостых выстрелов, направленных прямо в яму, но Сганарель только сердитее зарычал, а все-таки по-прежнему не показывался.

Тогда откуда-то из-за цепи вскачь подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых лежала куча сухой ржаной соломы.

Лошадь была высокая, худая, из тех, которых употребляли на вбрке* для подвоза корма с гуменника, но, несмотря на свою старость и худобу, она летела, поднявши хвост и натопорщив гриву. Трудно, однако, было определить: была ли ее теперешняя бодрость остатком прежней молодой удали, или это скорее было порождение страха и отчаяния, внушаемых старому коню близким присутствием медведя? По-видимому, последнее имело более вероятия, потому что лошадь была взнуздана, кроме железных удил, еще острою бечевкою, которою и были уже в кровь истерзаны ее посеревшие губы. Она и неслась и металась в стороны так отчаянно, что управлявший ею конюх в одно и то же время драл ей кверху голову бечевой, а другою рукою немилосердно стегал ее толстою нагайкою.

Но, как бы там ни было, солома была разделена на три кучи, разом зажжена и разом же с трех сторон скинута, зажженная, в яму. Вне пламени остался только один тот край, к которому было приставлено бревно.

Раздался оглушительный, бешеный рев, как бы смешанный вместе со стоном, но… медведь опять-таки не показывался…

До нашей цепи долетел слух, что Сганарель весь «опалился» и что он закрыл глаза лапами и лег вплотную в угол к земле, так что «его не стронуть».

Ворковая лошадь с разрезанными губами понеслась опять вскачь назад… Все думали, что это была посылка за новым привозом соломы. Между зрителями послышался укоризненный говор: зачем распорядители охоты не подумали ранее припасти столько соломы, чтобы она была здесь с излишком. Дядя сердился и кричал что-то такое, чего я не мог разобрать за всею поднявшеюся в это время у людей суетою и еще более усилившимся визгом собак и хлопаньем арапников.

Но во всем этом виднелось нестроение и был, однако, свой лад, и ворковая лошадь уже опять, метаясь и храпя, неслась назад к яме, где залег Сганарель, но не с соломою: на дровнях теперь

сидел Ферапонт.

Гневное распоряжение дяди заключалось в том, чтобы Храпошку спустили в яму и чтобы он *сам вывел* оттуда своего друга на травлю…

Глава одиннадцатая

И вот Ферапонт был на месте. Он казался очень взволнованным, но действовал твердо и решительно. Нимало не сопротивляясь барскому приказу, он взял с дровней веревку, которою была прихвачена привезенная минуту тому назад солома, и привязал эту веревку одним концом около зарубки верхней части бревна. Остальную веревку Ферапонт взял в руки и, держась за нее, стал спускаться по бревну, на ногах, в яму…

Страшный рев Сганареля утих и заменился глухим ворчанием.

Зверь как бы жаловался своему другу на жестокое обхождение с ним со стороны людей; но вот и это ворчание сменилось совершенной тишиной.

— Обнимает и лижет Храпошку, — крикнул один из людей, стоявших над ямой.

Из публики, размещавшейся в санях, несколько человек вздохнули, другие поморщились.

Многим становилось жалко медведя, и травля его, очевидно, не обещала им большого удовольствия. Но описанные мимолетные впечатления внезапно были прерваны новым событием, которое было еще неожиданнее и заключало в себе

новую трогательность.

Из творила ямы, как бы из преисподней, показалась курчавая голова Храпошки в охотничьей круглой шапке. Он взбирался наверх опять тем же самым способом, как и спускался, то есть Ферапонт шел на ногах по бревну, притягивая себя к верху крепко завязанной концом снаружи веревки. Но Ферапонт выходил *не один',* рядом с ним, крепко с ним обнявшись и положив ему на плечо большую косматую лапу, выходил и Сганарель... Медведь был не в духе и не в авантажном виде. Пострадавший и изнуренный, по-видимому не столько от телесного страдания, сколько от тяжкого морального потрясения, он сильно напоминал короля Лира. Он сверкал исподлобья налитыми кровью и полными гнева и негодования глазами. Так же, как Лир, он был и взъерошен, и местами опален, а местами к нему пристали будылья соломы. Вдобавок же, как тот несчастный венценосец, Сганарель, по удивительному случаю, сберег себе и нечто вроде венца. Может быть любя Ферапонта, а может быть случайно, он зажал у себя под мышкой шляпу, которою Храпошка его снабдил и с которою он же поневоле столкнул Сганареля в яму. Медведь сберег этот дружеский дар, и... теперь,

когда сердце его нашло мгновенное успокоение в объятиях друга, он, как только стал на землю, сейчас же вынул из-под мышки жестоко измятую шляпу и положил ее себе на макушку…

Эта выходка многих насмешила, а другим зато мучительно было ее видеть. Иные даже поспешили отвернуться от зверя, которому сейчас же должна была последовать злая кончина.

Глава двенадцатая

Тем временем, как все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякого повиновения. Даже арапник не оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки и старые пьявки, увидя Сганареля, поднялись на задние лапы и, сипло воя и храпя, задыхались в своих сыромятных ошейниках; а в это же самое время Храпошка уже опять мчался на ворковом одре к своему секрету под лесом. Сганарель опять остался один и нетерпеливо дергал лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная Храпошкой веревка, прикрепленная к бревну. Зверь, очевидно, хотел скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медведя, хоть и очень смышленого, ловкость все-таки была медвежья, и Сганарель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе.

Видя, что дело не идет так, как ему хотелось, Сганарель дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоймя в яме. Он на это оглянулся; а в то самое мгновение две пущенных из стаи со своры пьявки достигли его, и

одна из них со всего налета впилась ему острыми зубами в загорбок.

Сганарель был так занят с веревкой, что не ожидал этого и в первое мгновение как будто не столько рассердился, сколько удивился такой наглости; но потом, через полсекунды, когда пьявка хотела перехватить зубами, чтобы впиться еще глубже, он рванул ее лапою и бросил от себя очень далеко и с разорванным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали ее внутренности, а другая собака была в то же мгновение раздавлена под его задней лапой… Но что было всего страшнее и всего неожиданнее, это то, что случилось с бревном. Когда Сганарель сделал усиленное движение лапою, чтобы отбросить от себя впившуюся в него пьявку, он тем же самым движением вырвал из ямы крепко привязанное к веревке бревно, и оно полетело пластом в воздухе. Натянув веревку, оно закружило вокруг Сганареля, как около своей оси, и, чертя одним концом по снегу, на первом же обороте размозжило и положило на месте не двух и не трех, а целую стаю поспевавших собак. Одни из них взвизгнули и копошились из снега лапками, а другие как кувырнулись, так и вытянулись.

Глава тринадцатая

Зверь или был слишком понятлив, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось в его обладании оружие, или веревка, охватившая его лапу, больно ее резала, но он только взревел и, сразу перехватив веревку в самую лапу, еще так наподдал бревно, что оно поднялось и вытянулось в одну горизонтальную линию с направлением лапы, державшей веревку, и загудело, как мог гудеть сильно пущенный колоссальный волчок. Все, что могло попасть под него, непременно должно было сокрушиться вдребезги. Если же веревка где-нибудь, в каком-нибудь пункте своего протяжения оказалась бы недостаточно прочною и лопнула, то разлетевшееся в центробежном направлении бревно, оторвавшись, полетело бы вдаль, бог весть до каких далеких пределов, и на этом полете непременно сокрушит все живое, что оно может встретить.

Все мы, люди, все лошади и собаки, на всей линии и цепи, были в страшной опасности, и всякий, конечно, желал, чтобы для сохранения его жизни веревка, на которой вертел свою колоссальную пращу* Сганарель, была крепка.

Но какой, однако, все это могло иметь конец? Этого, впрочем, не пожелал дожидаться никто, кроме нескольких охотников и двух стрелков, посаженных в секретных ямах у самого леса. Вся остальная публика, то есть все гости и семейные дяди, приехавшие на эту потеху в качестве зрителей, не находили более в случившемся ни малейшей потехи. Все в перепуге велели кучерам как можно скорее скакать далее от опасного места и в страшном беспорядке, тесня и перегоняя друг друга, помчались к дому.

В спешном и беспорядочном бегстве по дороге было несколько столкновений, несколько падений, немного смеха и немало перепугов. Выпавшим из саней казалось, что бревно оторвалось от веревки и свистит, пролетая над их головами, а за ними гонится рассвирепевший зверь.

Но гости, достигши дома, могли прийти в покой и оправиться, а те немногие, которые остались на месте травли, видели нечто гораздо более страшное.

Глава четырнадцатая

Никаких собак нельзя было пускать на Сганареля. Ясно было, что при его страшном вооружении бревном он мог победить все великое множество псов без малейшего для себя вреда. А медведь, вертя свое бревно и сам за ним поворачиваясь, прямо подавался к лесу, и смерть его ожидала только здесь, у секрета, в котором сидели Ферапонт и без промаха стрелявший Флегонт.

Меткая пуля все могла кончить смело и верно.

Но рок удивительно покровительствовал Сганарелю и, раз вмешавшись в дело зверя, как будто хотел спасти его во что бы то ни стало.

В ту самую минуту, когда Сганарель сравнялся с привалами, из-за которых торчали на сошках наведенные на него дула кухенрейтеровских штуцеров Храпошки и Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и… как пущенная из лука стрела, стрекнуло в одну сторону, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился кубарем в другую.

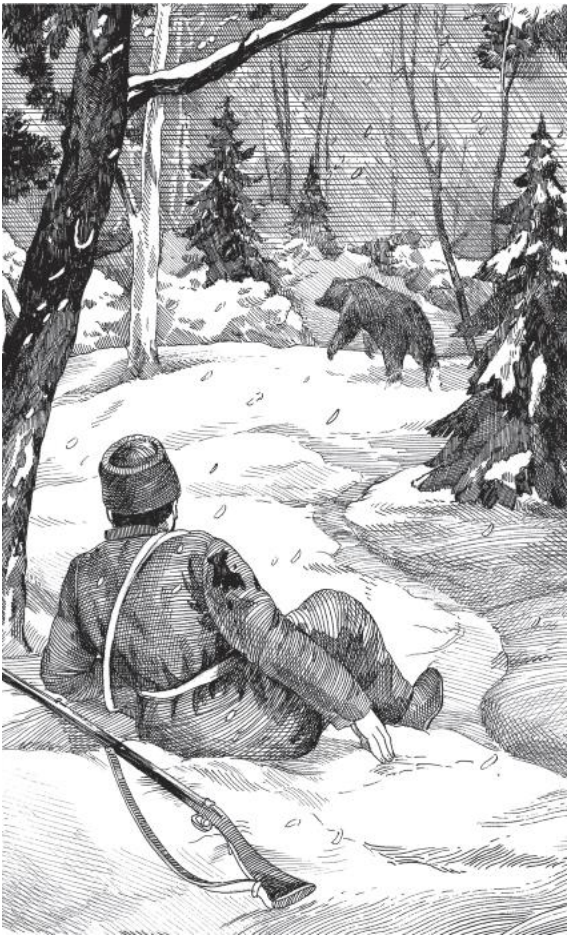
Перед оставшимися на поле вдруг сформировалась новая живая и страшная картина: бревно сшибло сошки и весь замет, за которым скрывал-

ся в секрете Флегонт, а потом, перескочив через него, оно ткнулось и закопалось другим концом в дальнем сугробе; Сганарель тоже не терял времени. Перекувыркнувшись три или четыре раза, он прямо попал за снежный валик Храпошки…

Сганарель его моментально узнал, дохнул на него своей горячей пастью, хотел лизнуть языком, но вдруг с другой стороны, от Флегонта, крякнул выстрел, и… медведь убежал в лес, а Храпошка… упал без чувств.

Его подняли и осмотрели: он был ранен пулею в руку навылет, но в ране его было также несколько медвежьей шерсти.

Флегонт не потерял звания первого стрелка, но он стрелял впопыхах из тяжелого штуцера и без сошек, с которых мог бы прицелиться. Притом же на дворе уже было серо, и медведь с Храпошкою были слишком тесно скучены…



При таких условиях и этот выстрел с промахом на одну линию должно было считать в своем роде замечательным.

Тем не менее — *Сганарель ушел.* Погоня за ним по лесу в этот же самый вечер была невозможна; а до следующего утра в уме того, чья воля была здесь для всех законом, просияло совсем иное настроение.

Глава пятнадцатая

Дядя вернулся после окончания описанной неудачной охоты. Он был гневен и суров более, чем обыкновенно. Перед тем как сойти у крыльца с лошади, он отдал приказ — завтра чем свет искать следов зверя и обложить его так, чтобы он не мог скрыться.

Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсем другие результаты.

Затем ждали распоряжения о раненом Храпошке. По мнению всех, его должно было постигнуть нечто страшное. Он по меньшей мере был виноват в той оплошности, что не всадил охотничьего ножа в грудь Сганареля, когда тот очутился с ним вместе и оставил его нимало не поврежденным в его объятиях. Но, кроме того, были сильные и, кажется, вполне основательные подозрения, что Храпошка схитрил, что он в роковую минуту умышленно не хотел поднять своей руки на своего косматого друга и пустил его на волю.

Всем известная взаимная дружба Храпошки с Сганарелем давала этому предположению много вероятности.

Так думали не только все участвовавшие в

охоте, но так же точно толковали теперь и все гости.

Прислушиваясь к разговорам взрослых, которые собрались к вечеру в большой зале, где в это время для нас зажигали богато убранную елку, мы разделяли и общие подозрения и общий страх пред тем, что может ждать Ферапонта.

На первый раз, однако, из передней, через которую дядя прошел с крыльца к себе «на половину», до залы достиг слух, что о Храпошке не было никакого приказания.

— К лучшему это, однако, или нет? — прошептал кто-то, и шепот этот среди общей тяжелой унылости толкнулся в каждое сердце.

Его услыхал и отец Алексей, старый сельский священник с бронзовым крестом двенадцатого года. Старик тоже вздохнул и таким же шепотом сказал:

— Молитесь рожденному Христу.

С этим он сам и все, сколько здесь было взрослых и детей, бар и холопей, все мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успели мы опустить наши руки, как широко растворились двери и вошел, с палочкой в руке, дядя. Его сопровождали две его любимые борзые собаки и камердинер Жюстин. Последний нес за ним на серебряной

тарелке его белый фуляр* и круглую табакерку с портретом Павла Первого.

Глава шестнадцатая

Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшом персидском ковре перед елкою, посреди комнаты. Он молча сел в это кресло и молча же взял у Жюстина свой фуляр и свою табакерку. У ног его тотчас легли и вытянули свои длинные морды обе собаки.

Дядя был в синем шелковом архалуке с вышитыми гладью застежками, богато украшенными белыми филограневыми пряжками с крупной бирюзой. В руках у него была его тонкая, но крепкая палка из натуральной кавказской черешни.

Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садке, отменно выезженная Щеголиха тоже не сохранила бесстрашия — она метнулась в сторону и больно прижала к дереву ногу своего всадника.

Дядя чувствовал сильную боль в этой ноге и даже немножко похрамывал.

Это новое обстоятельство, разумеется, тоже не могло прибавить ничего доброго в его раздраженное и гневливое сердце. Притом было дурно и то, что при появлении дяди мы все замолчали. Как большинство подозрительных людей, он терпеть

не мог этого; и хорошо его знавший отец Алексей поторопился, как умел, поправить дело, чтобы только нарушить эту зловещую тишину.

Имея наш детский круг близ себя, священник задал нам вопрос: понимаем ли мы смысл песни «Христос рождается»? Оказалось, что не только мы, но и старшие плохо ее разумели. Священник стал нам разъяснять слова: «славите», «рящите»* и «возноситеся», и, дойдя до значения этого последнего слова, сам тихо «вознесся» и умом и сердцем. Он заговорил о *даре,* который и нынче, как и «во время оно», всякий бедняк может поднесть к яслям «рожденного Отроча», смелее и достойнее, чем поднесли злато, смирну и ливан волхвы древности*. Дар наш — наше сердце, исправленное по *Его* учению. Старик говорил о любви, о прощенье, о долге каждого утешить друга и недруга «во имя Христово»… И думается мне, что слово его в тот час было убедительно… Все мы понимали, к чему он клонит, все его слушали с особенным чувством, как бы моляся, чтобы это слово достигло до цели, и у многих из нас на ресницах дрожали хорошие слезы…

Вдруг что-то упало… Это была дядина палка… Ее ему подали, но он до нее не коснулся: он сидел, склонясь набок, с опущенною с кресла рукою, в

которой, как позабытая, лежала большая бирюза от застежки… Но вот он уронил и ее, и… ее никто не спешил поднимать.

Все глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное: *он плакал!*

Священник тихо раздвинул детей и, подойдя к дяде, молча благословил его рукою.

Тот поднял лицо, взял старика за руку и неожиданно поцеловал ее перед всеми и тихо молвил:

— Спасибо.

В ту же минуту он взглянул на Жюстина и велел позвать сюда Ферапонта.

Тот предстал бледный, с подвязанной рукою.

— Стань здесь! — велел ему дядя и показал рукою на ковер.

Храпошка подошел и упал на колени.

— Встань… поднимись! — сказал дядя. — Я тебя прощаю.

Храпошка опять бросился ему в ноги.

Дядя заговорил нервным, взволнованным голосом:

— Ты любил зверя, как не всякий умеет любить человека. Ты меня этим тронул и превзошел меня в великодушии. Объявляю тебе от меня милость: даю вольную и сто рублей на дорогу. Иди куда хочешь.

— Благодарю и никуда не пойду! — воскликнул Храпошка.

— Что?

— Никуда не пойду, — повторил Ферапонт.

— Чего же ты хочешь?

— За вашу милость я хочу вам вольной волей служить честней, чем за страх поневоле.

Дядя моргнул глазами, приложил к ним одною рукою свой белый фуляр, а другою, нагнувшись, обнял Ферапонта, и… все мы поняли, что нам надо встать с мест, и тоже закрыли глаза… Довольно было чувствовать, что здесь совершилась слава вышнему Богу и заблагоухал мир во имя Христово, на месте сурового страха.

Это отразилось и на деревне, куда были посланы котлы браги. Зажглись веселые костры, и было веселье во всех, и шутя говорили друг другу:

— У нас ноне так сталось, что и зверь пошел во святой тишине Христа славить.

Сганареля не отыскивали. Ферапонт, как ему сказано было, сделался вольным, скоро заменил при дяде Жюстина и был не только верным его слугою, но и верным его другом до самой его смерти. Он закрыл своими руками глаза дяди, и он же схоронил его в Москве на Ваганьковском кладбище, где и по сю пору цел его памятник. Там

же, в ногах у него, лежит и Ферапонт.

Цветов им теперь приносить уже некому, но в московских норах и трущобах есть люди, которые помнят белоголового длинного старика, который словно чудом умел узнавать, где есть истинное горе, и умел поспевать туда вовремя сам или посылал не с пустыми руками своего доброго пучеглазого слугу.

Эти два добряка, о которых много бы можно сказать, были — мой дядя и его Ферапонт, которого старик в шутку называл: *«укротитель зверя»*.

Старый гений

Гений лет не имеет – он преодолевает все, что останавливает обыкновенные умы.

Ларошфуко*



Глава первая

Несколько лет назад в Петербург приехала маленькая старушка-помещица, у которой было, по ее словам, «вопиющее дело». Дело это заключалось в том, что она по своей сердечной доброте и простоте, чисто из одного участия, выручила из беды одного великосветского франта, — заложив для него свой домик, составлявший все достояние старушки и ее недвижимой, увечной дочери да внучки. Дом был заложен в пятнадцати тысячах, которые франт полностию взял, с обязательством уплатить в самый короткий срок.

Добрая старушка этому верила, да и немудрено было верить, потому что должник принадлежал к одной из лучших фамилий, имел перед собою блестящую карьеру и получал хорошие доходы с имений и хорошее жалованье по службе. Денежные затруднения, из которых старушка его выручила, были последствием какого-то мимолетного увлечения или неосторожности за картами в дворянском клубе, что поправить ему было, конечно, очень легко, — «лишь бы только доехать до Петербурга».

Старушка знавала когда-то мать этого госпо-

дина и, во имя старой приязни, помогла ему; он благополучно уехал в Питер, а затем, разумеется, началась довольно обыкновенная в подобных случаях игра в кошку и мышку. Приходят сроки, старушка напоминает о себе письмами — сначала самыми мягкими, потом немножко пожестче, а наконец, и бранится — намекает, что «это нечестно», но должник ее был зверь травленый и все равно ни на какие ее письма не отвечал. А между тем время уходит, приближается срок закладной — и перед бедной женщиной, которая уповала дожить свой век в своем домишке, вдруг разверзается страшная перспектива холода и голода с увечной дочерью и маленькою внучкою.

Старушка в отчаянии поручила свою больную и ребенка доброй соседке, а сама собрала кое-какие крохи и полетела в Петербург «хлопотать».

Глава вторая

Хлопоты ее вначале были очень успешны: адвокат ей встретился участливый и милостивый, и в суде ей решение вышло скорое и благоприятное, но как дошло дело до исполнения — тут и пошла закорюка, да такая, что и ума к ней приложить было невозможно. Не то чтобы полиция или иные какие пристава должнику мирволили — говорят, что тот им самим давно надоел и что они все старушку очень жалеют и рады ей помочь, да *не смеют*... Было у него какое-то такое могущественное родство или свойство, что нельзя было его приструнить, как всякого иного грешника.

О силе и значении этих связей достоверно не знаю, да думаю, что это и не важно. Все равно — какая бабушка ему ни ворожила и все на милость преложила.

Не умею тоже вам рассказать в точности, что над ним надо было учинить, но знаю, что нужно было «вручить *должнику* с распискою» какую-то бумагу, и вот этого-то никто — никакие лица никакого уряда* — не могли сделать. К кому старушка ни обратится, все ей в одном роде со-

ветуют:

— Ах, сударыня, и охота же вам! Бросьте лучше! Нам очень вас жаль, да что делать, когда он никому не платит… Утешьтесь тем, что не вы первая, не вы и последняя.

— Батюшки мои, — отвечает старушка, — да какое же мне в этом утешение, что не мне одной худо будет? Я бы, голубчики, гораздо лучше желала, чтобы и мне и всем другим хорошо было.

— Ну, — отвечают, — чтоб всем-то хорошо — вы уж это оставьте, — это специалисты* выдумали, и это невозможно.

А та, в простоте своей, пристает:

— Почему же невозможно? У него состояние во всяком случае больше, чем он всем нам должен, и пусть он должное отдаст, а ему еще много останется.

— Э, сударыня, у кого «много», тем никогда много не бывает, а им всегда недостаточно, но главное дело в том, что он платить не привык, и если очень докучать станете — может вам неприятность сделать.

— Какую неприятность?

— Ну, что вам расспрашивать: гуляйте лучше тихонько по Невскому проспекту, а то вдруг уедете.

— Ну, извините, — говорит старушка, — я вам не поверю: он замотался, но человек хороший.

— Да, — отвечают, — конечно, он барин хороший, но только дурной платить; а если кто этим занялся, тот и все дурное сделает.

— Ну, так тогда употребите меры.

— Да вот тут-то, — отвечают, — и точка с занятою: мы не можем против всех «употреблять меры». Зачем с такими знались?

— Какая же разница?

А вопрошаемые на нее только посмотрят да отвернутся или даже предложат идти высшим жаловаться.

Глава третья

Ходила она и к высшим. Там и доступ труднее и разговору меньше, да и отвлеченнее.

Говорят: «Да где он? о нем доносят, что его нет!»

— Помилуйте, — плачет старушка, — да я его всякий день на улице вижу — он в своем доме живет.

— Это вовсе и не его дом. У него нет дома: это дом его жены.

— Ведь это все равно: муж и жена — одна сатана.

— Да это вы так судите, но закон судит иначе. Жена на него тоже счеты предъявляла и жаловалась суду, и он у нее не значится… Он, черт его знает, он всем нам надоел, — и зачем вы ему деньги давали! Когда он в Петербурге бывает — он прописывается где-то в меблированных комнатах, но там не живет. А если вы думаете, что мы его защищаем или нам его жалко, то вы очень ошибаетесь: ищите его, поймайте, — это ваше дело, — тогда ему *«вручат»*.

Утешительнее этого старушка ни на каких высотах ничего не добилась и, по провинциальной

подозрительности, стала шептать, будто все это «оттого, что сухая ложка рот дерет».

— Что ты, — говорит, — мне ни уверяй, а я вижу, что все оно от того же самого движет, что *надо смазать.*

Пошла она «мазать» и пришла еще более огорченная. Говорит, что «прямо с целой тысячи начала», то есть обещала тысячу рублей из взысканных денег, но ее и слушать не хотели, а когда она, благоразумно прибавляя, насулила до трех тысяч, то ее даже попросили выйти.

— Трех тысяч не берут за то только, чтобы бумажку вручить! Ведь это что же такое?.. Нет, прежде лучше было.

— Ну, тоже, — напоминаю ей, — забыли вы, верно, как тогда хорошо шло: кто больше дал, тот и прав был.

— Это, — отвечает, — твоя совершенная правда, но только между старинными чиновниками бывали отчаянные доки. Бывало, его спросишь: «Можно ли?» — а он отвечает: «В России невозможности нет» — и вдруг выдумку выдумает и сделает. Вот мне и теперь один такой объявился и пристает ко мне, да не знаю: верить или нет? Мы с ним вместе в Мариинском пассаже у саечника* Василья обедаем, потому что я ведь теперь эко-

номлю и над каждым грошем трясусь — горячего уже давно не ем, все на дело берегу, а он, верно, тоже по бедности или питущий… но преубедительно говорит: «дайте мне пятьсот рублей — я *вручу*». Как ты об этом думаешь?

— Голубушка моя, — отвечаю ей, — уверяю вас, что вы меня своим горем очень трогаете, но я и своих-то дел вести не умею и решительно ничего не могу вам посоветовать. Расспросили бы вы по крайней мере о нем кого-нибудь: кто он такой и кто за него поручиться может?

— Да уж я саечника расспрашивала, только он ничего не знает. «Так, говорит, надо думать, или купец притишил торговлю, или подупавший из каких-нибудь своих благородий».

— Ну, самого его прямо спросите.

— Спрашивала — кто он такой и какой на нем чин? «Это, говорит, в нашем обществе рассказывать совсем лишнее и не принято; называйте меня Иван Иваныч, а чин на мне из четырнадцати овчин, — какую захочу, ту вверх шерстью и выворочу.

— Ну вот видите, — это, выходит, совсем какая-то темная личность.

— Да, темная… «Чин из четырнадцати овчин» — это я понимаю, так как я сама за чиновником

была. Это значит, что он четырнадцатого класса*. А насчет имени и рекомендаций прямо объявляет, что «насчет рекомендаций, говорит, я ими пренебрегаю и у меня их нет, а я гениальные мысли в своем лбу имею и знаю достойных людей, которые всякий мой план готовы привести за триста рублей в исполнение».

«Почему же, батюшка, непременно *триста?*»

«А так — уж это у нас такой прификс*, с которого мы уступать не желаем и больше не берем».

«Ничего, сударь, не понимаю».

«Да и не надо. Нынешние ведь много тысяч берут, а мы сотни. Мне двести за мысль и за руководство да триста исполнительному герою, в со-размере, что он может за исполнение три месяца в тюрьме сидеть, и конец дело венчает. Кто хочет — пусть нам верит, потому что я всегда берусь за дела только за невозможные; а кто веры не имеет, с тем делать нечего», — но что до меня касается, — прибавляет старушка, — то представь ты себе мое искушение: я ему почему-то верю…

— Решительно, — говорю, — не знаю, отчего вы ему верите?

— Вообрази — предчувствие у меня, что ли, какое-то, и сны я вижу, и все это как-то так тепло убеждает довериться.

— Не подождать ли еще?
— Подожду, пока возможно.
Но скоро это сделалось невозможно.

Глава четвертая

Приезжает ко мне старушка в состоянии самой трогательной и острой горести: во-первых, настает Рождество; во-вторых, из дому пишут, что дом на сих же днях поступает в продажу; и в-третьих, она встретила своего должника под руку с дамой и погналась за ними, и даже схватила его за рукав, и взывала к содействию публики, крича со слезами: «Боже мой, он мне должен!» Но это повело только к тому, что ее от должника с его дамою отвлекли, а привлекли к ответственности за нарушение тишины и порядка в людном месте. Ужаснее же этих трех обстоятельств было четвертое, которое заключалось в том, что должник старушки добыл себе заграничный отпуск и не позже как завтра уезжает с роскошною дамою своего сердца за границу — где наверно пробудет год или два, а может быть, и совсем не вернется, «потому что она очень богатая».

Сомнений, что все это именно так, как говорила старушка, не могло быть ни малейших. Она научилась зорко следить за каждым шагом своего неуловимого должника и знала все его тайности от подкупленных его слуг.

Завтра, стало быть, конец этой долгой и мучительной комедии: завтра он несомненно улизнет, и надолго, а может быть, и навсегда, потому что его компаньонка, всеконечно, не желала афишировать себя за миг иль краткое мгновенье.

Старушка все это во всех подробностях повергла уже обсуждению дельца, имеющего чин из четырнадцати овчин, и тот там же, сидя за ночвами у саечника в Мариинском пассаже, отвечал ей:

«Да, дело кратко, но помочь еще можно: сейчас пятьсот рублей на стол, и завтра же ваша душа на простор; а если не имеете ко мне веры — ваши пятнадцать тысяч пропали».



— Я, друг мой, — рассказывает мне старушка, — уже решилась ему довериться… Что же делать: все равно ведь никто не берется, а он берется и твердо говорит: «Я вручу». Не гляди, пожалуйста, на меня так, глаза испытуючи. Я нимало не сумасшедшая, — а и сама ничего не понимаю, но только имею к нему какое-то таинственное доверие в моем предчувствии, и сны такие снились, что я решилась и увела его с собою.

— Куда?

— Да видишь ли, мы у саечника ведь только в одну пору, все в обед встречаемся. А тогда уже поздно будет, — так я его теперь при себе веду и не отпущу до завтрего. В мои годы, конечно, уже об этом никто ничего дурного подумать не может, а за ним надо смотреть, потому что я должна ему сейчас же все пятьсот рублей отдать, и без всякой расписки.

— И вы решаетесь?

— Конечно, решаюсь. Что же еще сделать можно? Я ему уже сто рублей задатку дала, и он теперь ждет меня в трактире, чай пьет, а я к тебе с просьбою: у меня еще двести пятьдесят рублей есть, а полутораста нет. Сделай милость, ссуди мне, — я тебе возвращу. Пусть хоть дом продадут — все-таки там полтораста рублей еще останется.

Знал я ее за женщину прекрасной честности, да и горе ее такое трогательное, — думаю: отдаст или не отдаст — Господь с ней, от полутораста рублей не разбогатеешь и не обеднеешь, а между тем у нее мучения на душе не останется, что она не все средства испробовала, чтобы «вручить» бумажку, которая могла спасти ее дело.

Взяла она просимые деньги и поплыла в трактир к своему отчаянному дельцу. А я с любопытством дожидал ее на следующее утро, чтобы узнать: на какое еще новое штукарство изловчаются плутовать в Петербурге?

Только то, о чем я узнал, превзошло мои ожидания: пассажный гений не постыдил ни веры, ни предчувствий доброй старушки.

Глава пятая

На третий день праздника она влетает ко мне в дорожном платье и с саквояжем, и первое, что делает, — кладет мне на стол занятые у меня полтораста рублей, а потом показывает банковую, переводную расписку с лишком на пятнадцать тысяч…

— Глазам своим не верю! Что это значит?

— Ничего больше, как я получила все свои деньги с процентами.

— Каким образом? Неужто все это четырнадцатиовчинный Иван Иваныч устроил?

— Да, он. Впрочем, был еще и другой, которому он от себя триста рублей дал — потому что без помощи этого человека обойтись было невозможно.

— Это что же еще за деятель? Вы уж расскажите все, как они вам помогали!

— Помогли очень честно. Я как пришла в трактир и отдала Ивану Иванычу деньги — он сосчитал, принял и говорит: «Теперь, госпожа, поедем. Я, говорит, гений по мысли моей, но мне нужен исполнитель моего плана, потому что я сам таинственный незнакомец и своим лицом

юридических действий производить не могу». Ездили по многим низким местам и по баням — все искали какого-то «сербского сражателя»*, но долго его не могли найти. Наконец нашли. Вышел этот сражатель из какой-то ямки, в сербском военном костюме, весь оборванный, а в зубах пилочка из газетной бумаги, и говорит: «Я все могу, что кому нужно, но прежде всего надо выпить». Все мы трое в трактире сидели и торговались, и сербский сражатель требовал «по сту рублей на месяц, за три месяца». На этом решили. Я еще ничего не понимала, но видела, что Иван Иваныч ему деньги отдал, стало быть он верит, и мне полегче стало. А потом я Ивана Иваныча к себе взяла, чтобы в моей квартире находился, а сербского сражателя в бани ночевать отпустили с тем, чтобы утром явился. Он утром пришел и говорит: «Я готов!» А Иван Иваныч мне шепчет: «Пошлите для него за водочкой: от него нужна смелость. Много я ему пить не дам, а немножко необходимо для храбрости: настает самое главное его исполнение».

Выпил сербский сражатель, и они поехали на станцию железной дороги, с поездом которой старушкин должник и его дама должны были уехать. Старушка все еще ничего не понимала,

что такое они замыслили и как исполнят, но сражатель ее успокоивал и говорил, что «все будет честно и благородно». Стала съезжаться к поезду публика, и должник явился тут, как лист перед травою, и с ним дама; лакей берет для них билеты, а он сидит с своей дамой, чай пьет и тревожно осматривается на всех. Старушка спряталась за Ивана Иваныча и указывает на должника — говорит: «Вот — он!»

Сербский воитель увидал, сказал «хорошо» и сейчас же встал и прошел мимо франта раз, потом во второй, а потом в третий раз, прямо против него остановился и говорит:

— Чего это вы на меня так смотрите?

Тот отвечает:

— Я на вас вовсе никак не смотрю, я чай пью.

— А-а! — говорит воитель, — вы не смотрите, а чай пьете? так я же вас заставлю на меня смотреть, и вот вам от меня к чаю лимонный сок, песок и шоколаду кусок!.. — Да с этим — хлоп, хлоп, хлоп! — его три раза по лицу и ударил.

Дама бросилась в сторону, господин тоже хотел убежать и говорил, что он теперь не в претензии; но полиция подскочила и вмешалась: «Этого, говорит, нельзя: это в публичном месте», — и сербского воителя арестовали, и побитого то-

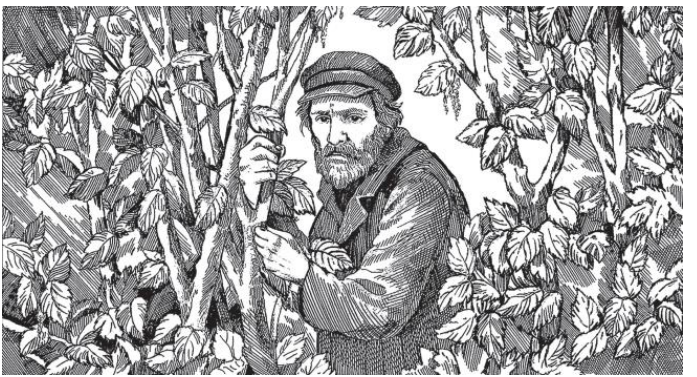
же. Тот в ужасном был волнении — не знает: не то за своей дамой броситься, не то полиции отвечать. А между тем уже и протокол готов, и поезд отходит… Дама уехала, а он остался… и как только объявил свое звание, имя и фамилию, полицейский говорит: «Так вот у меня кстати для вас и бумажка в портфеле есть для вручения». Тот — делать нечего — при свидетелях поданную ему бумагу принял и, чтобы освободить себя от обязательств о невыезде, немедленно же сполна и с процентами уплатил чеком весь долг свой старушке.

Так были побеждены неодолимые затруднения, правда восторжествовала, и в честном, но бедном доме водворился покой, и праздник стал тоже светел и весел.

Человек, который нашелся — как уладить столь трудное дело, кажется, вполне имеет право считать себя в самом деле гением.

Пугало

У страха большие глаза.
Поговорка



Глава первая

Мое детство прошло в Орле. Мы жили в доме Немчинова, где-то недалеко от «маленького собора». Теперь я не могу разобрать, где именно стоял этот высокий деревянный дом, но помню, что из его сада был просторный вид за широкий и глубокий овраг с обрывистыми краями, прорезанными пластами красной глины. За оврагом расстилался большой выгон, на котором стояли казенные магазины, а возле них летом всегда учились солдаты. Я всякий день смотрел, как их учили и как их били. Тогда это было в употреблении, но я никак не мог к этому привыкнуть и всегда о них плакал. Чтобы это не часто повторялось, моя няня, престарелая московская солдатка Марина Борисовна, уводила меня гулять в городской сад. Здесь мы садились над мелководной Окой и глядели, как в ней купались и играли маленькие дети, свободе которых я тогда очень завидовал.

Главная выгода их привольного положения в моих глазах состояла в том, что они не имели на себе ни обуви, ни белья, так как рубашонки их были сняты и ворот их с рукавами связаны. В таком приспособлении рубашки получали

вид небольших мешков, и ребятишки, ставя их против течения, налавливали туда крохотную серебристую рыбешку. Она так мала, что ее нельзя чистить, и это признавалось достаточным основанием к тому, чтобы ее варить и есть нечищеною.

Я никогда не имел отваги узнать ее вкус, но ловля ее, производившаяся крохотными рыбаками, казалась мне верхом счастия, каким мальчика моих тогдашних лет могла утешить свобода.

Няня, впрочем, знала хорошие доводы, что мне такая свобода была бы совершенно неприлична. Доводы эти заключались в том, что я — дитя благородных родителей и отца моего все в городе знают.

— Другое дело, — говорила няня, — если бы это было в деревне. Там, при простых, серых мужиках, и мне, пожалуй, можно было бы позволить наслаждаться кой-чем в том же свободном роде.

Кажется, от этих именно сдерживающих рассуждений меня стало сильно и томительно манить в деревню, и восторг мой не знал пределов, когда родители мои купили небольшое именьице в Кромском уезде. Тем же летом мы переехали* из большого городского дома в очень уютный, но маленький деревенский дом с балко-

ном, под соломенною крышею. Лес в Кромском уезде и тогда был дорог и редок. Это местность степная и хлебородная, и притом она хорошо орошена маленькими, но чистыми речками.

Глава вторая

В деревне у меня сразу же завелись обширные и любопытные знакомства с крестьянами. Пока отец и мать были усиленно заняты устройством своего хозяйства, я не терял времени, чтобы самым тесным образом сблизиться с взрослыми парнями и с ребятишками, которые пасли лошадей «на кулигах»[3]. Сильнее всех моими привязанностями овладел, впрочем, старый мельник, дедушка Илья — совершенно седой старик с пребольшими черными усами. Он более всех других был доступен для разговоров, потому что на работы не отлучался, а или похаживал с навозными вилами по плотине, или сидел над дрожащею скрынью и задумчиво слушал, ровно ли стучат мельничные колеса или не сосет ли где-нибудь под скрынью вода. Когда ему надокучало ничего не делать, он заготовлял на всякий случай кленовые кулачья или цевки для шестерни. Но во всех описанных положениях он легко отклонялся от дела и вступал охотно в беседы, которые он вел

[3] Примечания: 3

Кули́га — место, где срублены и выжжены деревья, чащоба, пережога. *(Примеч. автора.)*

отрывками, без всякой связи, но любил систему намеков и при этом подсмеивался не то сам над собою, не то над слушателями.

По должности мельника дедушка Илья имел довольно близкое соотношение к водяному, который заведовал нашими прудами, верхним и нижним, и двумя болотами. Свою главную штаб-квартиру этот демон имел под холостою скрынью на нашей мельнице.

Дедушка Илья об нем все знал и говорил:

– *Он* меня любит. *Он,* если когда и сердит домой придет за какие-нибудь беспорядки, — он меня не обижает. Ляжь тут другой на моем месте, на мешках, — он так и сорвет с мешка и выбросит, а меня ни в жизнь не тронет.

Все молодшие люди подтверждали мне, что между дедушкою Ильею и «водяным дедкой» действительно существовали описанные отношения, но только они держались вовсе не на том, что водяной Илью любил, а на том, что дедушка Илья, как настоящий, заправский мельник, знал настоящее, заправское мельницкое слово, которому водяной и все его чертенята повиновались так же беспрекословно, как ужи и жабы, жившие под скрынями и на плотине.

С ребятами я ловил пискарей и гольцов, кото-

рых было великое множество в нашей узенькой, но чистой речке Гостомле; но, по серьезности моего характера, более держался общества дедушки Ильи, опытный ум которого открывал мне полный таинственной прелести мир, который был совсем мне, городскому мальчику, неизвестен. От Ильи я узнал и про домового, который спал на катке, и про водяного, который имел прекрасное и важное помещение под колесами, и про кикимору, которая была так застенчива и непостоянна, что пряталась от всякого нескромного взгляда в разных пыльных заметах — то в риге*, то в овине*, то на толчее, где осенью толкли замашки*. Меньше всех дедушка знал про лешего, потому что этот жил где-то далеко *у* Селиванова двора и только иногда заходил к нам в густой ракитник, чтобы сделать себе новую ракитовую дудку и поиграть на ней в тени у сажалок*. Впрочем, дедушка Илья во всю свою богатую приключениями жизнь видел лешего лицом к лицу всего только один раз, и то на Николин день, когда у нас бывал храмовой праздник. Леший подошел к Илье, прикинувшись совсем смирным мужичком, и попросил понюхать табачку. А когда дедушка сказал ему: «черт с тобой — понюхай!» и при этом открыл тавлинку, — то леший не мог

более соблюсти хорошего поведения и сошкольничал: он так поддал ладонью под табакерку, что запорошил доброму мельнику все глаза.

Все эти живые и занимательные истории имели тогда для меня полную вероятность, и их густое, образное содержание до такой степени переполняло мою фантазию, что я сам был чуть ли не духовидцем. По крайней мере, когда я однажды заглянул с большим риском в толчейный амбар, то глаз мой обнаружил такую остроту и тонкость, что видел сидевшую там в пыли кикимору. Она была неумытая, в пыльном повойнике* и с золотушными глазами. А когда я, испуганный этим видением, бросился без памяти бежать оттуда, то другое мое чувство — слух — обнаружило присутствие лешего. Я не могу поручиться, где именно он сидел, — вероятно, на какой-нибудь высокой раките, но только, когда я бежал от кикиморы, леший во всю мочь засвистал на своей зеленой дудке и так сильно прихватил меня к земле за ногу, что у меня оторвался каблук от ботинки.

Едва переводя дух, я сообщил все это домашним и за свое чистосердечие был посажен в комнате читать «Священную историю», пока посланный босой мальчик сходил в соседнее село к солдату, который мог исправить повреждение, сделанное

лешим в моей ботинке. Но и самое чтение «Священной истории» не защищало уже меня от веры в те сверхъестественные существа, с которыми я, можно сказать, сживался при посредстве дедушки Ильи. Я хорошо знал и любил «Священную историю», — я и до сих пор готов ее перечитывать, а все-таки ребячий милый мир тех сказочных существ, о которых наговорил мне дедушка Илья, казался мне необходимым. Лесные родники осиротели бы, если бы от них были отрешены гении, приставленные к ним народною фантазией.

В числе неприятных последствий от лешевой дудки было еще то, что дедушка Илья за прочитанные им для меня курсы демонологии получил от матушки выговор и некоторое время меня дичился и будто не хотел продолжать моего образования. Он даже притворялся, будто гонит меня от себя прочь.

— Пошел от меня прочь, иди к своей няньке, — говорил он, заворачивая меня к себе спиною и поддавая широкой мозолистой ладонью под сиденье.

Но я уже мог гордиться своим возрастом и считать подобное обращение со мною несовместным. Мне было восемь лет, и к няньке своей мне тогда идти было незачем. Я это и дал почувство-

вать Илье, принеся ему полоскательную чашку вишен из-под слитой наливки.

Дедушка Илья любил эти фрукты — принял их, смягчился, погладил меня своей мозольной рукой по голове, и между нами снова восстановились самые короткие и самые добрые отношения.

— Ты вот что, — говорил мне дедушка Илья, — ты мужика завсегда больше всех почитай и люби слушать, но того, что от мужика услышишь, не всем сказывай. А не то — прогоню.

С тех пор я стал таить все, что слышал от мельника, и зато узнал так много интересного, что начал бояться не только ночью, когда все домовые, лешие и кикиморы становятся очень дерзновенны и наглы, но даже стал бояться и днем. Такой страх овладел мною потому, что дом наш и весь наш край, оказалось, находился во власти одного престрашного разбойника и кровожадного чародея, который назывался Селиван. Он жил от нас всего в шести верстах, «на разновилье», то есть там, где большой почтовый тракт разветвлялся на два: одна, новая дорога шла на Киев, а другая, старая, с дуплистыми ракитами «екатерининского насаждения», вела на Фатеж. Эта теперь уже брошена и лежит взапусте.

В версте за этим разновильем был хороший

дубовый лес, а при лесе — самый дрянной, совершенно раскрытый и полуобвалившийся постоялый двор, в котором, говорили, будто никто никогда не останавливался. И этому можно было легко верить, потому, что двор не представлял никаких удобств для постоя, и потому, что отсюда было слишком близко до города Кром, где и в те полудикие времена можно было надеяться найти теплую горницу, самовар и калачи второй руки. Вот в этом-то ужасном дворе, где *никто* никогда не останавливался, и жил «пустой дворник» Селиван, ужасный человек, с которым никто не рад был встретиться.

Глава третья

Повесть «пустого дворника» Селивана, по словам дедушки Ильи, была следующая. Селиван был кромский мещанин; родители его рано умерли, а он жил в мальчиках у калачника и продавал калачи у кабака за Орловской заставой. Мальчик он был хороший, добрый и послушный, но только калачнику всегда говорили, что с Селиваном требовалась осторожность, потому что у него на лице была красная метинка, как огонь, — а это никогда даром не ставится. Были такие люди, которые знали на это и особенную пословицу: «Бог плута метит». Хозяин-калачник очень хвалил Селивана за его усердие и верность, но все другие люди, по искреннему своему доброжелательству, говорили, что истинное благоразумие все-таки заставляет его остерегаться и много ему не доверять, — потому что «Бог плута метит». Если метка на его лице положена, то это именно для того, чтобы все слишком доверчивые люди его остерегались. Калачник не хотел отстать от людей умных, но Селиван был очень хороший работник. Калачи он продавал исправно и всякий вечер аккуратно высыпал хозяину из большого

кожаного кошелька все пятаки и гривны, сколько выручил от проезжавших мужичков. Однако метка лежала на нем не даром, а до случая (это уже всегда так бывает). Пришел в Кромы из Орла «отслужившийся палач», по имени Борька, и сказано было ему: «Ты был палач, Борька, а теперь тебе у нас жить будет горько», — и все, насколько кто мог, старались, чтобы такие слова не остались для отставного палача вотще. А когда палач Борька пришел из Орла в Кромы, с ним уже была дочь, девочка лет пятнадцати, которая родилась в остроге, — хотя многие думали, что ей бы лучше совсем не родиться.

Пришли они в Кромы жить по приписке. Это теперь непонятно, но тогда бывало так, что отслужившимся палачам дозволялось приписываться к каким-нибудь городишкам, и делалось это просто, ни у кого на то желания и согласия не спрашивая. Так случилось и с Борькой: велел какой-то губернатор приписать этого старого палача в Кромах — его и приписали, а он пришел сюда жить и привел с собою дочку. Но только в Кромах палач, разумеется, ни для кого не был желанным гостем, а, напротив, все им пренебрегали, как люди чистые, и ни его, ни его девочку решительно никто не захотел пустить к себе на

двор. А время, когда они пришли, было уже очень холодное.

Попросился палач в один дом, потом в другой и не стал более докучать. Он видел, что не возбуждает ни в ком ни малейшего сострадания, и знал, что вполне этого заслужил.

«Но дитя! — думал он. — Дитя не виновато в моих грехах, — кто-нибудь пожалеет дитя».

И Борька опять пошел стучаться из двора во двор, прося взять если не его, то только девчонку… Он заклинался, что никогда даже не придет, чтобы навестить дочь.

Но и эта просьба была так же напрасна.

Кому охота с палачом знаться?

И вот, обойдя городишко, стали эти злополучные пришельцы опять проситься в острог. Там хоть можно было обогреться от осенней мокроты и стужи. Но и в острог их не взяли, потому что срок их острожной неволи минул и они теперь были люди вольные. Они были свободны умереть под любым забором или в любой канаве.

Милостыню палачу с дочерью иногда подавали, не для них, конечно, а Христа ради, но в дом никуда не пускали. Старик с дочерью не имели приюта и ночевали то где-нибудь под кручею, в глинокопных ямах, то в опустелых сторожевых

шалашах на огородах, по долине. Суровую долю их делила тощая собака, которая пришла с ними из Орла.

Это был большой лохматый пес, на котором вся шерсть завойлочилась в войлок. Чем она питалась при своих нищих хозяевах — это никому не было известно, но наконец догадались, что ей вовсе и не нужно было питаться, потому что она была «бесчеревная», то есть у нее были только кости да кожа и желтые, истомленные глаза, а «в середине» у нее ничего не было и потому пища ей вовсе не требовалась.

Дедушка Илья рассказывал мне, как этого можно достигать «самым легким манером». Любую собаку, пока она щенком, стоит только раз напоить жидко расплавленным оловом или свинцом, и она сделается *без черева и* может не есть. Но, разумеется, при этом необходимо знать «особливое, колдовское слово». А за то, что палач, очевидно, знал этакое слово, — люди строгой нравственности убили его собаку. Оно, конечно, так и следовало, чтобы не давать поблажки колдовству; но это было большим несчастьем для нищих, так как девочка спала вместе с собакою, и та уделяла ребенку часть теплоты, которую имела в своей шерсти. Однако для таких пустя-

ков, разумеется, нельзя было потворствовать волшебствам, и все были того мнения, что собака уничтожена совершенно правильно. Пусть колдунам не удается морочить правоверных.

Глава четвертая

После уничтожения собаки девочку согревал в шалашах сам палач, но он уже был стар, и, к его счастию, ему недолго пришлось нести эту непосильную для него заботу. В одну морозную ночь дитя ощутило, что отец ее застыл более, чем она сама, и ей сделалось так страшно, что она от него отодвинулась и даже от ужаса потеряла сознание. До утра пробыла она в объятиях смерти. Когда стало светать и люди, шедшие к заутрене, заглянули из любопытства в шалаш, то они увидели отца и дочь закоченевшими. Девочку кое-как отогрели, и когда она увидала у отца странно остолбенелые глаза и дико оскаленные зубы, тогда поняла, в чем дело, и зарыдала.

Старика схоронили за кладбищем, потому что он жил скверно и умер без покаяния, а про его девочку немножко позабыли… Правда, не надолго, всего на какой-нибудь месяц, но когда про нее через месяц вспомнили, — ее уже негде было отыскивать.

Можно было думать, что сиротка куда-нибудь убежала в другой город или пошла просить милостыню по деревням. Гораздо любопытнее было то,

что с исчезновением сиротки соединялось другое странное обстоятельство: прежде чем хватились девочки, было замечено, что без вести пропал куда-то калачник Селиван.

Он пропал совершенно неожиданно, и притом так необдуманно, как не делал еще до него никакой другой беглец. Селиван решительно ничего ни у кого не унес, и даже все данные ему для продажи калачи лежали на его лотке, и тут же уцелели все деньги, которые он выручил за то, что продал; но сам он домой не возвращался.

И оба эти сироты считались без вести пропавшими целых три года.

Вдруг, однажды, приезжает с ярмарки купец, которому принадлежал давно опустелый постоялый двор «на разновилье», и говорит, что с ним было несчастие: ехал он, да плохо направил на гать свою лошадь, и его воз придавил, но его спас неизвестный бродяжка.

Бродяжка этот был им узнан, и оказалось, что это не кто иной, как Селиван.

Спасенный Селиваном купец был не из таких людей, которые совсем нечувствительны к оказанной им услуге; чтобы не подлежать на Страшном суде ответу за неблагодарность, он захотел сделать добро бродяге.

— Я должен тебя осчастливить, — сказал он Селивану, — у меня есть пустой двор на разновилье, иди туда и сиди в нем дворником и продавай овес и сено, а мне плати всего сто рублей в год аренды.

Селиван знал, что на шестой версте от городка, по запустевшей дороге, постоялому двору не место и, в нем сидючи, никакого заезда ждать невозможно; но, однако, как это был еще первый случай, когда ему предлагали иметь свой угол, то он согласился.

Купец пустил.

Глава пятая

Селиван приехал во двор с маленькой ручной одноколесной навозницей, в которой у него местились пожитки, а на них лежала, закинув назад голову, больная женщина в жалких лохмотьях.

Люди спросили у Селивана:

— Кто это такая?

Он отвечал:

— Это моя жена.

— Из каких она мест родом?

Селиван кротко отвечал:

— Из Божьих.

— Чем она больна?

— Ногами недужна.

— А отчего она так недужает?

Селиван, насупясь, буркнул:

— От земного холода.

Больше он не стал говорить ни слова, поднял на руки свою немощную калеку и понес ее в избу.

Словоохотливости и вообще приятной общительности в Селиване не было; людей он избегал, и даже как будто боялся, и в городе не показывался, а жены его совсем никто не видал с тех пор, как он ее сюда привез в ручной навозной

тележке. Но с тех пор, когда это случилось, уже прошло много лет, — молодые люди тогдашнего века уже успели состариться, а двор в разновилье еще более обветшал и развалился; но Селиван и его убогая калека все жили здесь и, к общему удивлению, платили за двор наследникам купца какую-то плату.

Откуда же этот чудак выручал все то, что было нужно на его собственные нужды и на то, что следовало платить за совершенно разрушенный двор? Все знали, что сюда *никогда* не заглядывал *ни один* проезжающий и не кормил здесь своих лошадей *ни один* обоз, а между тем Селиван хотя жил бедственно, но все еще не умирал с голода.

Вот в этом-то и был вопрос, который, впрочем, не очень долго томил окрестное крестьянство. Скоро все поняли, что Селиван знался с нечистою силою… Эта нечистая сила и устраивала ему довольно выгодные и для обыкновенных людей даже невозможные делишки.

Известно, что дьявол и его помощники имеют большую охоту делать людям всякое зло; но особенно им нравится вынимать из людей души так неожиданно, чтобы они не успели очистить себя покаянием. Кто из людей помогает таким проискам, тому вся нечистая сила, то есть все

лешие, водяные и кикиморы, охотно делают разные одолжения, хотя, впрочем, на очень тяжелых условиях. Помогающий чертям должен сам за ними последовать в ад, — рано или поздно, но непременно. Селиван находился именно на этом роковом положении. Чтобы кое-как жить в своем разоренном домишке, он давно продал свою душу нескольким чертям сразу, а эти с тех пор начали загонять к нему на двор путников самыми усиленными мерами. Назад же от Селивана не выезжал никто. Делалось это таким образом, что лешие, сговорясь с кикиморами, вдруг перед ночью поднимали вьюги и метели, при которых дорожный человек растеривался и спешил спрятаться от разгулявшейся стихии куда попало. Селиван тогда сейчас же и выкидывал хитрость: он выставлял огонь на свое окошко и на этот свет к нему попадали купцы с толстыми черезами*, дворяне с потайными шкатулками и попы с меховыми треухами, подложенными во всю ширь денежными бумажками. Это была ловушка. Назад из Селивановых ворот уже не было поворота ни одному из тех, кто приехал. Куда их девал Селиван, — про то никому не было известно.

Дедушка Илья, договорившись до этого, толь-

ко проводил по воздуху рукой и внушительно произносил:

— Сова летит, лунь плывет — ничего не видно: буря, метель и… ночь матка — все гладко.

Чтобы не уронить себя во мнении дедушки Ильи, я притворялся, будто понимаю, что значит «сова летит и лунь плывет», а понимал я только одно, что Селиван — это какое-то общее пугало, с которым чрезвычайно опасно встретиться… Не дай Бог этого никому на свете.

Я, впрочем, старался проверить страшные рассказы про Селивана и от других людей, но все в одно слово говорили то же самое. Все смотрели на Селивана как на страшное пугало, и все так же, как дедушка Илья, строго заказывали мне, чтобы я «дома, в хоромах, никому про Селивана не сказывал». По совету мельника, я эту мужичью заповедь исполнял до особого страшного случая, когда я сам попался в лапы Селивану.

Глава шестая

Зимою, когда в доме вставили двойные рамы, я не мог по-прежнему часто видеться с дедушкой Ильей и с другими мужиками. Меня берегли от морозов, а они все остались работать на холоду, причем с одним из них произошла неприятная история, выдвинувшая опять на сцену Селивана.

В самом начале зимы племянник Ильи, мужик Николай, пошел на свои именины в Кромы, в гости, и не возвратился, а через две недели его нашли на опушке у Селиванова леса. Николай сидел на пне, опершись бородою на палочку, и, по-видимому, отдыхал после такой сильной усталости, что не заметил, как метель замела его выше колен снегом, а лисицы обкусали ему нос и щеки.

Очевидно, Николай сбился с дороги, устал и замерз; но все знали, что это вышло неспроста и не без Селивановой вины. Я узнал об этом через девушек, которых было у нас в комнатах очень много и все они большею частию назывались Аннушками. Была Аннушка большая, Аннушка меньшая, Аннушка рябая и Аннушка круглая, и потом еще Аннушка, по прозванию «Шибаёнок».

Эта последняя была у нас в своем роде фельетонистом и репортером. Она по своему живому и резвому характеру получила и свою бойкую кличку.

Не Аннушками звали только двух девушек — Неонилу да Настю, которые числились на некотором особом положении, потому что получили особенное воспитание в тогдашнем модном орловском магазине мадам Морозовой, да еще были в доме три побегушки-девочки — Оська, Моська и Роська. Крестное имя одной из них было Матрена, другой — Раиса, а как звали по-настоящему Оську — этого я не знаю. Моська, Оська и Роська находились еще в малолетстве, и потому к ним все относились довольно презрительно. Они еще бегали босиком и не имели права садиться на стульях, а присаживались внизу, на подножных скамейках.

По должности они исполняли разные унизительные поручения, как то: чистили тазы, выносили умывальные лоханки, провожали гулять комнатных собачек и бегали скороходами на посылках за кухонными людьми и на деревню. В теперешних помещичьих домах уже нигде нет такого излишнего многолюдства, но тогда оно казалось необходимым.

Все наши девы и девчонки, разумеется, много знали о страшном Селиване, вблизи двора которого замерз мужик Николай. По этому случаю теперь вспомнили Селивану все его старые проделки, о которых я прежде и не знал. Теперь обнаружилось, что кучер Константин, едучи один раз в город за говядиной, слышал, как из окна Селивановой избы неслися жалобные стоны и слышались слова: «Ой, ручку больно! Ой, пальчик режет».

Девушка, Аннушка большая, объясняла это так, что Селиван забрал к себе во время метели (по-орловски — *куры*) целый господский возок с целым дворянским семейством и медленно отрезал дворянским детям пальчик за пальчиком. Это страшное варварство ужасно меня перепугало. Потом башмачнику Ивану приключилось что-то еще более страшное и вдобавок необъяснимое. Раз, когда его послали в город за сапожным товаром и он, позамешкавшись, возвращался домой темным вечером, то поднялась маленькая метель, — а это составляло первое удовольствие для Селивана. Он сейчас же вставал и выходил на поле, чтобы веяться во мгле вместе с Ягою, лешими и кикиморами. И башмачник это знал и остерегался, но не остерегся. Селиван выскочил у

него перед самым носом и загородил ему дорогу… Лошадь стала. Но башмачник, к его счастию, от природы был смел и очень находчив. Он подошел к Селивану, будто с ласкою, и проговорил: «Здравствуй, пожалуйста», а в это самое время из рукава кольнул его самым большим и острым шилом прямо в живот. Это единственное место, в которое можно ранить колдуна насмерть, но Селиван спасся тем, что немедленно обратился в толстый верстовой столб, в котором острый инструмент башмачника застрял так крепко, что башмачник никак не мог его вытащить и должен был расстаться с шилом, между тем как оно ему было решительно необходимо.

Этот последний случай был даже обидною насмешкою над честными людьми и убедил всех, что Селиван действительно был не только великий злодей и лукавый колдун, но и нахал, которому нельзя было давать спуску. Тогда его решили проучить строго; но Селиван тоже не был промах и научился новой хитрости: он начал «скидываться», то есть при малейшей опасности, даже просто при всякой встрече, он стал изменять свой человеческий вид и у всех на глазах обращаться в различные одушевленные и неодушевленные предметы. Правда, что бла-

годаря общему против него возбуждению, он и при такой ловкости все-таки немножко страдал, но искоренить его никак не удавалось, а борьба с ним иногда даже принимала немножко смешной характер, что всех еще более обижало и злило. Так, например, после того, когда башмачник изо всей силы проколол его шилом и Селиван спасся только тем, что успел скинуться верстовым столбом, несколько человек видели это шило торчавшим в настоящем верстовом столбе. Они пробовали даже его оттуда вытащить, но шило сломалось, и башмачнику привезли только одну ничего не стоящую деревянную ручку.

Селиван же и после этого ходил по лесу, как будто его даже совсем и не кололи, и скидывался кабаном до такой степени истово, что ел дубовые желуди с удовольствием, как будто такой фрукт мог приходиться ему по вкусу. Но чаще всего он вылезал под видом красного петуха на свою черную растрепанную крышу и кричал оттуда «ку-ка-реку!». Все знали, что его, разумеется, занимало не пение «ку-ка-реку», а он высматривал, не едет ли кто-нибудь такой, против кого стоило бы подучить лешего и кикимору поднять хорошую бурю и затормошить его до смерти. Словом, окрестные люди так хорошо отгадывали все его

хитрости, что никогда не поддавались злодею в его сети и даже порядком мстили Селивану за его коварство. Один раз, когда он, скинувшись кабаном, встретился *с* кузнецом Савельем, который шел пешком из Кром со свадьбы, между ними даже произошла открытая схватка, но кузнец остался победителем благодаря тому, что у него, к счастию, случилась в руках претяжелая дубина. Оборотень притворился, будто он не желает обращать на кузнеца ни малейшего внимания и, тяжело похрюкивая, чавкал желуди; но кузнец проник острым умом его замысел, который состоял в том, чтобы пропустить его мимо себя и потом напасть на него сзади, сбить с ног и съесть вместо желудя. Кузнец решился предупредить беду; он поднял высоко над головою свою дубину и так треснул ею кабана по храпе, что тот жалобно взвизгнул, упал и более уже не поднимался. А когда кузнец после этого начал поспешно уходить, то Селиван опять принял на себя свой человеческий вид и долго смотрел на кузнеца со своего крылечка — очевидно, имея против него какое-то самое недружелюбное намерение.

После этой ужасной встречи кузнеца даже била лихорадка, от которой он спасся единственно тем, что пустил по ветру за окно хинный порошок, ко-

торый ему был прислан из горницы для приема.

Кузнец слыл за человека очень рассудительного и знал, что хина и всякое другое аптечное лекарство против волшебства ничего сделать не могут. Он оттерпелся, завязал на суровой нитке узелок и бросил его гнить в навозную кучу. Этим было все кончено, потому что как только узелок и нитка сгнили, так и сила Селивана должна была кончиться. И это так и сделалось. Селиван после этого случая в свинью уже никогда более не скидывался, или по крайней мере с тех пор его никто решительно не встречал в этом неопрятном виде.

С проказами же Селивана в образе красного петуха было еще удачнее: на него ополчился косой мирошник Савка, преудалый парень, который действовал всех предусмотрительнее и ловчее.

Будучи послан раз в город на подторжье, он ехал верхом на очень ленивой и упрямой лошади. Зная такой нрав своего коня, Савка взял с собою на всякий случай потихоньку хорошее березовое полено, которым надеялся запечатлеть сувенир в бока своего меланхолического буцефала*. Кое-что в этом роде он и успел уже сделать и настолько переломить характер своего коня, что тот, потеряв терпение, стал понемножку припрыгивать.

Селиван, не ожидая, что Савка так хорошо вооружен, как раз к его приезду выскочил петухом на застреху и начал вертеться, глазеть на все стороны да петь «ку-ка-ре-ку!». Савка не сробел колдуна, а, напротив, сказал ему: «Э, брат, врешь — не уйдешь», и с этим, недолго думая, так ловко швырнул в него своим поленом, что тот даже не допел до конца своего «ку-ка-реку» и свалился мертвым. По несчастию, он только упал не на улицу, а во двор, где ему ничего не стоило, коснувшись земли, опять принять на себя свой природный человеческий образ. Он сделался Селиваном и, выбежав, погнался за Савкою, имея в руке то же самое полено, которым его угостил Савка, когда он пел петухом на крыше.

По рассказам Савки, Селиван в этот раз был так взбешен, что Савке могло прийтись от него очень плохо; но Савка был парень сообразительный и отлично знал одну преполезную штуку. Он знал, что его ленивая лошадь сразу забывает о своей лени, если ее поворотить домой, к яслям. Он это и сделал. Как только Селиван, вооруженный поленом, на Савку кинулся, — Савка враз повернул коня в обратный путь и скрылся. Он прискакал домой, не имея на себе лица от страха, и рассказал о бывшей с ним страшной истории только на

другой день. И то слава Богу, что заговорил, а то боялись, как бы он не остался нем навсегда.

Глава седьмая

Вместо оробевшего Савки был наряжен другой, более смелый посол, который достиг Кром и возвратился назад благополучно. Однако и этот, совершив путешествие, говорил, что ему легче бы сквозь землю провалиться, чем ехать мимо Селиванова двора. То же самое чувствовали и другие: страх стал всеобщий; но зато со стороны всех вообще началось и за Селиваном всеобщее усиленное смотрение. Где бы и чем бы он ни скидывался, его везде постоянно обнаруживали и во всех видах стремились пресечь его вредное существование. Являлся ли Селиван у своего двора овцою или теленком, — его все равно узнавали и били, и ни в каком виде ему не удавалось укрыться. Даже когда он один раз выкатился на улицу в виде нового свежевыс-моленного тележного колеса и лег на солнце сушиться, то и эта его хитрость была обнаружена, и умные люди разбили колесо на мелкие части так, что и втулка и спицы разлетелись в разные стороны.

Обо всех этих происшествиях, составлявших героическую эпопею моего детства, мною своевременно получались скорые и самые до-

стоверные сведения. Быстроте известий много содействовало то, что у нас на мельнице всегда случалась отменная заезжая публика, приезжавшая за помолом. Пока мельничные жернова мололи привезенные ими хлебные зерна, уста помольцев еще усерднее мололи всяческий вздор, а оттуда все любопытные истории приносились в девичью Моською и Роською и потом в наилучшей редакции сообщались мне, а я начинал о них думать целые ночи и создавал презанимательные положения для себя и для Селивана, к которому я, несмотря на все, что о нем слышал, питал в глубине моей души большое сердечное влечение. Я бесповоротно верил, что настанет час, когда мы с Селиваном как-то необыкновенно встретимся — и даже полюбим друг друга гораздо более, чем я любил дедушку Илью, в котором мне не нравилось то, что у него один, именно левый, глаз всегда немножко смеялся.

Я никак не мог долго верить, что Селиван делает все свои сверхъестественные чудеса с злым намерением к людям, и очень любил о нем думать; и обыкновенно, чуть я начинал засыпать, он мне снился тихим, добрым и даже обиженным. Я его никогда еще не видал и не умел себе представить его лица по искаженным описаниям

рассказчиков, но глаза его я видел, чуть закрывал свои собственные. Это были большие глаза, совсем голубые и предобрые. И пока я спал, мы с Селиваном были в самом приятном согласии: у нас с ним открывались в лесу разные секретные норки, где у нас было напрятано много хлеба, масла и теплых детских тулупчиков, которые мы доставали, бегом носили к известным нам избам по деревням, клали на слуховое окно, стучали, чтобы кто-нибудь выглянул, и сами убегали.

Это были, кажется, самые прекрасные сновидения в моей жизни, и я всегда сожалел, что с пробуждением Селиван опять делался для меня тем разбойником, против которого всякий добрый человек должен был принимать все меры предосторожности. Признаться, я и сам не хотел отстать от других, и хотя во сне я вел с Селиваном самую теплую дружбу, но наяву я считал нелишним обеспечить себя от него даже издали.

С этой целию я, путем немалой лести и других унижений, выпросил у ключницы хранившийся у нее в кладовой старый, очень большой кавказский кинжал моего отца. Я подвязал его на кутас*, который снял с дядиного гусарского кивера, и мастерски спрятал это оружие в головах, под матрац моей постельки. Если бы Селиван появился

ночью в нашем доме, я бы непременно против него выступил.

Об этом скрытом цейхгаузе* не знали ни отец, ни мать, и это было совершенно необходимо, потому что иначе кинжал у меня, конечно, был бы отобран, а тогда Селиван мог помешать мне спать спокойно, потому что я все-таки его ужасно боялся. А он между тем уже делал к нам подходы, но наши бойкие девушки его сразу же узнали. К нам в дом Селиван дерзнул появляться, скинувшись большою рыжею крысою. Сначала он просто шумел по ночам в кладовой, а потом один раз спустился в глубокий долбленый липовый напол, на дне которого ставили, покрывая решетом, колбасы и другие закуски, сберегаемые для приема гостей. Тут Селиван захотел сделать нам серьезную домашнюю неприятность — вероятно, в отплату за те неприятности, какие он перенес от наших мужиков. Оборотясь рыжею крысою, он вскочил на самое дно в липовый напол, сдвинул каменный гнеток, который лежал на решете, и съел все колбасы, но зато назад никак не мог выскочить из высокой кади. Здесь Селивану, по всем видимостям, никак невозможно было избежать заслуженной казни, которую вызвалась произвесть над ним самая скорая Аннушка Шибаёнок.

Она явилась для этого с целым чугуном кипятку и с старою вилкою. Аннушка имела такой план, чтобы сначала ошпарить оборотня кипятком, а потом приколоть его вилкою и выбросить мертвого в бурьян на расклеванье воронам. Но при исполнении казни произошла неловкость со стороны Аннушки круглой, она плеснула кипятком на руку самой Аннушке Шибаёнку; та выронила от боли вилку, а в это время крыса укусила ее за палец и с удивительным проворством по ее же рукаву выскочила наружу и, произведя общий перепуг всех присутствующих, сделалась невидимкой.

Родители мои, смотревшие на это происшествие обыкновенными глазами, приписывали глупый исход травли неловкости наших Аннушек; но мы, которые знали тайные пружины дела, знали и то, что тут ничего невозможно было сделать лучшего, потому что это была не простая крыса, а оборотень Селиван. Рассказать об этом старшим мы, однако, не смели. Как простосердечный народ, мы боялись критики и насмешек над тем, что сами почитали за несомненное и очевидное.

Через порог передней Селиван перешагнуть не решался ни в каком виде, как мне казалось, пото-

му, что он кое-что знал о моем кинжале. И мне это было и лестно и досадно, потому что, собственно говоря, мне уже стали утомительны одни толки и слухи и во мне разгоралось страстное желание встретиться с Селиваном лицом к лицу.

Это во мне обратилось наконец в томление, в котором и прошла вся долгая зима с ее бесконечными вечерами, а с первыми весенними потоками с гор у нас случилось происшествие, которое расстроило весь порядок жизни и дало волю опасным порывам несдержанных страстей.

Глава восьмая

Случай был неожиданный и печальный. В самую весеннюю ростепель, когда, по народному выражению, «лужа быка топит», из далекого тетушкина имения прискакал верховой с роковым известием об опасной болезни дедушки.

Длинный переезд в такую распутицу был сопряжен с большою опасностию; но отца и мать это не остановило, и они пустились в дорогу немедленно. Ехать надо было сто верст, и не иначе, как в простой тележке, потому что ни в каком другом экипаже проехать совсем было невозможно. Телегу сопровождали два вершника с длинными шестами в руках. Они ехали вперед и ощупывали дорожные просовы*. Я и дом были оставлены на попечение особого временного комитета, в состав которого входили разные лица по разным ведомствам. Аннушке большой были подчинены все лица женского пола до Оськи и Роськи; но высший нравственный надзор поручен был старостихе Дементьевне. Интеллигентное же руковождение нами — в рассуждении наблюдения праздников и дней недельных* — было вверено диаконскому сыну Аполлинарию Ивановичу,

который, в качестве исключенного из семинарии ритора*, состоял при моей особе на линии наставника. Он учил меня латинским склонениям и вообще приготовлял к тому, чтобы я мог на следующий год поступить в первый класс орловской гимназии не совершенным дикарем, которого способны удивить латинская грамматика Белюстина и французская — Ломонда.

Аполлинарий был юноша светского направления и собирался поступить в «приказные», или, по-нынешнему говоря, в писцы — в орловское губернское правление, где служил его дядя, имевший презанимательную должность. Если какой-нибудь становой* или исправник не исполнял какого-нибудь предписания, то дядю Аполлинария посылали на одной лошади «нарочным» на счет виновного. Он ездил, не платя за лошадей денег, и, кроме того, получал с виновных дары и презенты и видел разные города и много разных людей разных чинов и обычаев. Мой Аполлинарий тоже имел в виду со временем достичь такого счастия и мог надеяться сделать гораздо более своего дяди, потому что он обладал двумя большими талантами, которые могли быть очень приятны в светском обхождении: Аполлинарий играл на гитаре две песни: «Девушка

крапивушку жала» и вторую, гораздо более трудную, — «Под вечер осенью ненастной», и, что еще реже было в тогдашнее время в провинциях, — он умел сочинять прекрасные стихи дамам, за что, собственно, и был выгнан из семинарии.

Мы с Аполлинарием, несмотря на разницу наших лет, держались как друзья, и, как прилично верным друзьям, мы крепко хранили взаимные тайны. В этом случае на его долю приходилось немножко меньше, чем на мою: мои все секреты заключались в находившемся у меня под матрацем кинжале, а я обязан был глубоко таить два вверенные мне секрета: первый касался спрятанной в шкафе трубки, из которой Аполлинарий курил вечером в печку кисло-сладкие белые нежинские корешки, а второй был еще важнее — здесь дело шло о стихах, написанных Аполлинарием в честь некоей «легконосной* Пулхерии».

Стихи были, кажется, очень плохие, но Аполлинарий говорил, что для верного о них суждения необходимо было видеть, какое они могут произвести впечатление, если их хорошенько, с чувством прочесть нежной и чувствительной женщине.

Это предполагало большую и даже в нашем

положении непреодолимую трудность, потому что маленьких барышень у нас в доме не было, а барышням взрослым, которые иногда приезжали, Аполлинарий не смел предложить быть его слушательницами, так как он был очень застенчив, а между нашими знакомыми барышнями водились большие насмешницы.

Нужда научила Аполлинария выдумать компромисс, — именно продекламировать оду, написанную «Легконосной Пулхерии», перед нашей девушкой Неонилой, которая усвоила себе в модном магазине Морозовой разные отшлифованные городские манеры и, по соображениям Аполлинария, должна была иметь тонкие чувства, необходимые для того, чтобы почувствовать достоинство поэзии.

По малолетству моему я боялся подавать своему учителю советы в его поэтических опытах, но считал его намерение декламировать стихи перед швеею рискованным. Я, разумеется, судил по себе и хотя брал в соображение, что молоденькой Неониле знакомы некоторые предметы городского круга, но едва ли ей может быть понятен язык высокой поэзии, каким Аполлинарий обращался к воспеваемой им Пулхерии. Притом в оде к «Легконосице» были такие восклицания: «О

ты, жестокая!» или «Исчезни с глаз моих!» и тому подобные. Неонила от природы имела робкий и застенчивый характер, и я боялся, что она примет это на свой счет и непременно расплачется и убежит.

Но всего хуже то, что при обыкновенном строгом домашнем порядке нашей домашней жизни вся эта задуманная ритором поэтическая репетиция была совершенно невозможна. Ни время, ни место, ни даже все другие условия не благоприятствовали тому, чтобы Неонила слушала стихи Аполлинария и была их первою ценительницею. Однако безначалием, которое водворилось у нас с отъездом родителей, все изменилось, и ритор захотел этим воспользоваться. Теперь мы, забыв всякую разность своих положений, ежедневно играли по вечерам в короли, а Аполлинарий даже курил в комнатах свои нежинские корешки и садился в столовой в отцовском кресле, что меня немножко обижало. Кроме того, по его же настоянию у нас несколько раз была затеяна игра в жмурки, причем мне и брату набили синяки. Потом мы играли в прятки, и раз даже был устроен формальный фестивал, с большим угощением. Кажется, все это делалось «на шереметевский счет»*, как в тогдашнее время бражничали мно-

гие неосмотрительные кутилы, по гибельному пути которых направились и мы, увлекаемые ритором. Мне до сих пор неизвестно, от кого тогда были предложены собранию целый мешочек самых зрелых лесных орехов, добытых из мышиных норок (где обыкновенно бывают только орехи самого высшего сорта). Кроме орехов, были три свертка серой бумаги с желтыми паточными груздиками, подсолнухами и засмоквенной грушей. Последняя очень прочно липла к рукам и не скоро отмывалась.

Так как этот последний фрукт пользовался особым вниманием, то груши давались только в розыгрыш на фанты. Моська, Оська и Роська, по существенному своему ничтожеству, смокв вовсе не получали. В фантах участвовали Аннушка и я да мой наставник Аполлинарий, который оказался очень ловким выдумщиком. Происходило все это в гостиной комнате, где, бывало, сидели только очень почетные гости. И тут-то, в чаду увлечения веселостями, в Аполлинария вошел какой-то отчаянный дух, и он задумал еще более дерзкое предприятие. Он захотел декламировать свою оду в грандиозной и даже ужасающей обстановке, при которой должны были подвергнуться самому высшему напряжению самые сильные

нервы. Он начал всех нас подговаривать, чтобы отправиться всем вместе в будущее воскресенье за ландышами в Селиванов лес. А вечером, когда мы с ним ложились спать, он мне открылся, что ландыши тут один только предлог, а главная цель в том, чтобы прочитать стихи в самой ужасной обстановке.

С одной стороны будет действовать страх от Селивана, а с другой — страх от ужасных стихов… Каково это выйдет и можно ли это выдержать?

Представьте же себе, что мы на это отважились.

В оживленности, которою все мы были охвачены в этот достопамятный весенний вечер, нам представлялось, что все мы смелы и можем совершить отчаянную штуку безопасно. В самом деле, нас будет много, и притом я возьму, разумеется, свой огромный кавказский кинжал.

Признаться, мне очень хотелось, чтобы и все другие вооружились сообразно своей силе и возможности, но я ни у кого не встретил к этому должного внимания и готовности. Аполлинарий брал только чубук да гитару, а с девушками ехали таганы, сковороды, котелки с яйцами и чугунок. В чугунке предполагалось варить пшенный кулеш* с салом, а на сковороде жарить яичницу, и

в этом смысле они были прекрасны; но в смысле обороны, на случай возможных проделок со стороны Селивана, решительно ничего не значили.

Впрочем, по правде сказать, я был и еще кое за что недоволен моими компаньонами, а именно — я не чувствовал с их стороны того внимания к Селивану, каким я сам был проникнут. Они и боялись его, но как-то легкомысленно, и даже рисковали критически над ним подтрунивать. Одна Аннушка говорила, что она возьмет пирожную скалку и скалкой его убьет, а Шибаёнок смеялась, что она его загрызть может, и при этом показывала свои белые-пребелые зубы и перекусывала ими кусочек проволоки. Все это как-то не солидно; всех превзошел ритор. Он совсем отвергал существование Селивана — говорил, что его даже никогда не было и что он просто есть изобретение фантазии, такое же, как Пифон*, Цербер* и тому подобное.

Тогда я первый раз видел, до чего способен человек увлекаться в отрицаниях! К чему же тогда вся риторика, если она позволяет поставить на одну ступень вероятность баснословного Пифона с Селиваном, действительное существование которого подтверждалось множеством очевидных событий.

Я этому соблазну не поддался и сберег мою веру в Селивана. Даже более того, я верил, что ритор за свое неверие будет непременно наказан.

Впрочем, если не строго относиться к этим философствам, то затеянная поездка в лес обещала много веселости, и никто не хотел или не мог заставить себя приготовиться к явлениям другого сорта. А меж тем благоразумие заставляло весьма поостеречься в этом проклятом лесу, где мы будем, так сказать, в самой пасти у зверя.

Все думали только о том, как им весело будет разбрестись по лесу, куда все боятся ходить, а они не боятся. Размышляли о том, как мы пройдем насквозь весь опасный лес, аукаясь, перекликаясь и перепрыгивая ямки и овражки, в которых дотлевает последний снег, а и не подумали, будет ли все это одобрено, когда возвратится наше высшее начальство. Впрочем, мы зато имели в виду изготовить на туалет мамы два большие букета из лучших ландышей, а из остальных сделать душистый перегон, который во все предстоящее лето будет давать превосходное умыванье от загара.

Глава девятая

Нетерпеливо дождавшись воскресенья, мы оставили в доме на хозяйстве старостиху Дементьевну, а сами отправились к Селиванову лесу. Вся публика шла пешком, держась более просохших высоких рубежей, где уже зеленела первая изумрудная травка, а по дороге следовал обоз, состоявший из телеги, запряженной старою буланою лошадью. На телеге лежала Аполлинариева гитара и взятые на случай ненастья девичьи кацавейки. Правил лошадью я, а назади, в качестве пассажиров, помещались Роська и другие девчонки, из которых одна бережно везла в коленях кошелочку с яйцами, а другая имела общее попечение о различных предметах, но наиболее поддерживала рукою мой огромный кинжал, который был у меня подвешен через плечо на старом гусарском шнуре от дядина этишкета* и болтался из стороны в сторону, значительно затрудняя мои движения и отрывая мое внимание от управления лошадью.

Девушки, идучи по рубежу, пели: «Распашу ль я пашеньку, посею ль я лен-конопель», а ритор им вторил басом. Попадавшиеся нам навстречу

мужики кланялись и опрашивали:

— Куда поднялись?

Аннушки им отвечали:

— Идем Селиванку в плен брать.

Мужики помахивали головами и говорили:

— Угорелые!

Мы и действительно были в каком-то чаду, нас охватила неудержимая полудетская потребность бегать, петь, смеяться и делать все очертя голову.

А между тем час езды по скверной дороге начал на меня действовать неблагоприятно — старый буланый мне надоел, и во мне охладела охота держать в руках веревочные вожжи; но невдалеке, на горизонте, засинел Селиванов лес, и все ожило. Сердце забилось и заныло, как у Вара при входе в Тевтобургские дебри*. А в это же время из-под талой межи выскочил заяц и, пробежав через дорогу, понесся по полю.

— Фуй, чтоб тебе пусто было! — закричали вслед ему Аннушки.

Они все знали, что встреча с зайцем к добру никогда не бывает. И я тоже струсил и схватился за свой кинжал, но так увлекся заботами об извлечении его из заржавевших ножен, что не заметил, как выпустил из рук вожжи и, с совер-

шенною для себя неожиданностию, очутился под опрокинувшеюся телегою, которую потянувший-ся на рубеж за травкою буланый повернул самым правильным образом, так что все четыре колеса очутились вверху, а я с Роськой и со всею нашею провизиею явились под спудом…

Это несчастие с нами случилось моментально, но последствия его были неисчислимы: гитара Аполлинария была разломана вдребезги, а раз-битые яйца текли и заклеивали нам лица своим содержимым. Вдобавок Роська ревела.

Я был всемерно подавлен и сконфужен и до того растерялся, что даже желал, чтобы нас луч-ше совсем не освобождали; но я уже слышал голоса всех Аннушек, которые, трудясь над на-шим освобождением, тут же, очень выгодно для меня, разъяснили причину нашего падения. Я и буланый были тут ни в чем не причинны: все это было делом Селивана.

Это была первая хитрость, чтобы не допустить нас к его лесу; но, однако, она никого сильно не испугала, а, напротив, только привела всех в большое негодование и увеличила решимость во что бы то ни стало исполнить всю задуманную нами программу.

Нужно было только поднять телегу, поставить

нас на ноги, смыть с нас где-нибудь у ручейка неприятную яичную слизь и посмотреть, что уцелело после нашего крушения из вещей, взятых для дневного продовольствия нашей многоличной группы.

Все это и было кое-как сделано. Меня и Роську вымыли у ручья, который бежал под самым Селивановым лесом, и когда глаза мои раскрылись, то свет мне показался очень невзрачным. Розовые платья девочек и мой новый бешмет из голубого кашемира были никуда не годны: покрывшие их грязь и яйца совсем их попортили и не могли быть отмыты без мыла, которого мы с собой не захватили. Чугун и сковородка были расколоты, от тагана валялись одни ножки, а от гитары Аполлинария остался один гриф с закрутившимися на нем струнами. Хлеб и другая сухая провизия были в грязи.

По меньшей мере нам угрожал целоденный голод, если не считать ни во что других ужасов, которые чувствовались во всем окружающем. В долине над ручьем свистел ветер, а черный, еще не убранный зеленью лес шумел и зловеще махал на нас своими прутьями.

Настроение духа во всех нас значительно понизилось, — особенно в Роське, которая озябла и

плакала. Но, однако, мы все-таки решили вступить в Селиванове царство, а дальше пусть будет что будет.

Во всяком случае, одно и то же приключение без какой-нибудь перемены не могло повториться.

Глава десятая

Все перекрестились и начали входить в лес. Входили робко и нерешительно, но каждый скрывал от других свою робость. Все только уговаривались как можно чаще перекликаться. Но, впрочем, не оказалось и большой нужды в перекличке, потому что никто далеко вглубь не ушел, все мы как будто случайно беспрестанно скучивались к краю и тянулись веревочкой вдоль опушки. Один Аполлинарий оказался смелее других и несколько углубился в чащу: он заботился найти самое глухое и страшное место, где его декламация могла бы произвести как можно более ужасное впечатление на слушательниц; но зато, чуть только Аполлинарий скрылся из вида, лес вдруг огласился его пронзительным, неистовым криком. Никто не мог себе вообразить, какая опасность встретила Аполлинария, но все его покинули и бросились бежать вон из леса на поляну, а потом, не оглядываясь назад, — дальше, по дороге к дому. Так бежали все Аннушки и все Моськи, а за ними, продолжая кричать от страха, пронесся и сам педагог, а мы с маленьким братом остались одни.

Из всей нашей компании не осталось никого: нас покинули не только все люди, но бесчеловечному примеру людей последовала и лошадь. Перепуганная их криком, она замотала головою и, повернув прочь от леса, помчалась домой, разбросав по ямам и рытвинам все, что еще оставалось до сих пор в тележке.

Это было не отступление, а полное и самое позорное бегство, потому что оно сопровождалось не только потерею обоза, но и утратою всего здравого смысла, причем мы, дети, были кинуты на произвол судьбы.

Бог знает, что нам довелось бы испытать в нашем беспомощном сиротстве, которое было тем опаснее, что мы одни дороги домой найти не могли и наша обувь, состоявшая из мягких козловых башмачков на тонкой рантовой подшивке, не представляла удобства для перехода в четыре версты по сырым тропинкам, на которых еще во многих местах стояли холодные лужи. В довершение беды, прежде чем мы с братом успели себе представить вполне весь ужас нашего положения, по лесу что-то зарокотало, и потом с противоположной стороны от ручья на нас дунуло и потянуло холодной влагой.

Мы поглядели за лощину и увидали, что с той

стороны, куда лежит наш путь и куда позорно бежала наша свита, неслась по небу огромная дождевая туча с весенним дождем и с первым весенним громом, при котором молодые девушки умываются с серебряной ложечки, чтобы самим стать белей серебра.

Видя себя в таком отчаянном положении, я готов был расплакаться, а мой маленький брат уже плакал. Он весь посинел и дрожал от страха и холода и, склонясь головою под кустик, жарко молился Богу.

Бог, кажется, внял его детской мольбе, и нам было послано невидимое спасение. В ту самую минуту, когда прогремел гром и мы теряли последнее мужество, в лесу за кустами послышался треск, и из-за густых ветвей рослого орешника выглянуло широкое лицо незнакомого нам мужика. Лицо это показалось нам до такой степени страшным, что мы вскрикнули и стремглав бросились бежать к ручью.

Не помня себя мы перебежали лощину, кувырком слетели с мокрого, осыпавшегося бережка и прямо очутились по пояс в мутной воде, между тем как ноги наши до колен увязли в тине.

Бежать дальше не было никакой возможности. Ручей дальше был слишком глубок для наше-

го маленького роста, и мы не могли надеяться перейти через него, а притом по его струям теперь страшно сверкали зигзаги молнии — они трепетали и вились, как огненные змеи, и точно прятались в прошлогодних оставшихся водорослях.

Очутясь в воде, мы схватили друг друга за руки и стали в оцепенении, а сверху на нас уже падали тяжелые капли полившего дождя. Но это оцепенение и сохранило нас от большой опасности, которой мы никак бы не избежали, если бы сделали еще хотя один шаг далее в воду.

Мы легко могли поскользнуться и упасть, но, к счастию, нас обвили две черные жилистые руки — и тот самый мужик, который выглянул на нас страшно из орешника, ласково проговорил:

— Эх вы, глупые ребятки, куда залезли!

И с этим он взял и понес нас через ручей.

Выйдя на другой берег, он опустил нас на землю, снял с себя коротенькую свитку, которая была у него застегнута у ворота круглою медною пуговкою, и обтер этою свиткою наши мокрые ноги.

Мы на него смотрели в это время совершенно потерянно и чувствовали себя вполне в его власти, но — чудное дело! — черты его лица в наших глазах быстро изменялись. В них мы уже

не только не видели ничего страшного, но, напротив, лицо его нам казалось очень добрым и приятным.

Это был мужик плотный, коренастый, с проседью в голове и в усах, — борода комком и тоже с проседью, глаза живые, быстрые и серьезные, но в устах что-то близкое к улыбке.

Сняв с наших ног, насколько мог, грязь и тину полою своей свитки, он даже совсем улыбнулся и опять заговорил:

— Вы того… ничего… не пужайтесь…

С этим он оглянулся по сторонам и продолжал:

— Ничего; сейчас большой дождь пойдет! (Он уже шел и тогда.) Вам, ребятишки, пешком не дойти.

Мы в ответ ему только молча плакали.

— Ничего, ничего, не голосите, я вас донесу на себе! — заговорил он и утер своею ладонью заплаканное лицо брата, отчего у того сейчас же показались на лице грязные полосы.

— Вон ишь, какие мужичьи руки-то грязные, — сказал наш избавитель и провел еще раз по лицу брата ладонью в другую сторону, отчего грязь не убавилась, а только получила растушевку в другую сторону.

— Вам не дойти… Я вас поведу… да, не дойти…

и в грязи черевички[4] спадут.

— Умеете ли верхам ездить? — заговорил снова мужик.

Я взял смелость проронить слово и ответил:

— Умею.

— А умеешь, то и ладно! — молвил он и в одно мгновение вскинул меня на одно плечо, а брата — на другое, велел нам взяться друг с другом руками за его затылком, а сам покрыл нас своею свиткою, прижал к себе наши колена и понес нас, скоро и широко шагая по грязи, которая быстро растворялась и чавкала под его твердо ступавшими ногами, обутыми в большие лапти.

Мы сидели на его плечах, покрытые его свитою. Это, должно быть, выходила пребольшая фигура, но нам было удобно: свита замокла от ливня и залубенела так, что нам под нею и сухо и тепло было. Мы покачивались на плечах нашего носильщика, как на верблюде, и скоро впали в какое-то каталептическое состояние, а пришли в себя у родника, на своей усадьбе. Для меня лично это был настоящий глубокий сон, из которого пробуждение наступало не разом. Я помню, что нас разворачивал из свиты этот самый мужик,

---

[4] Примечания: 4

Башмаки — по-орловски черевѝчки. *(Примеч. автора.)*

которого теперь окружали все наши Аннушки, и все они вырывали нас у него из рук и при этом самого его за что-то немилосердно бранили, и свитку его, в которой мы были им так хорошо сбережены, бросили ему с величайшим презрением на землю. Кроме того, ему еще угрожали приездом моего отца и тем, что они сейчас сбегают на деревню, позовут с цепами баб и мужиков и пустят на него собак.

Я решительно не понимал причины такой жестокой несправедливости, и это было не удивительно, потому что дома у нас, во всем господствовавшем теперь временном правлении, был образован заговор, чтобы нам ничего не открывать о том, кто был этот человек, которому мы были обязаны своим спасением.

— Ничем вы ему не обязаны, — говорили нам наши охранительницы, — а напротив, это он-то все и наделал.

По этим словам я тотчас же догадался, что нас спас не кто иной, как сам Селиван!

Глава одиннадцатая

Оно так и было. На другой день, ввиду возвращения родителей, нам это открыли и взяли с нас клятву, чтобы мы ни за что не говорили отцу и матери о происшедшей с нами истории.

В те времена, когда водились крепостные люди, иногда случалось, что помещичьи дети питали к крепостной прислуге самые нежные чувства и крепко хранили их тайны. Так было и у нас. Мы даже покрывали, как умели, грехи и проступки «своих людей» перед родителями. Такие отношения упоминаются во многих произведениях, где описывается помещичий быт того времени. Что до меня, то мне наша детская дружба с нашими бывшими крепостными до сих пор составляет самое приятное и самое теплое воспоминание. Через них мы знали все нужды и все заботы бедной жизни их родных и друзей на деревне и учились *жалеть народ.* Но этот добрый народ, к сожалению, сам не всегда был справедлив и иногда был способен для очень неважных причин бросить на ближнего темную тень, не заботясь о том, какое это может иметь вредное влияние. Так поступал «народ» и с Селиваном, об истинном

характере и правилах которого не хотели знать ничего основательного, но смело, не боясь погрешить перед справедливостию, распространяли о нем слухи, сделавшие его для всех *пугалом.* И, к удивлению, все, что о нем говорили, не только казалось вероятным, но даже имело какие-то видимые признаки, по которым приходилось думать, что Селиван в самом деле человек дурной и что вблизи его уединенного жилища происходят страшные злодейства.

То же самое произошло и теперь, когда нас бранили те, на которых состояла обязанность охранять нас: они не только взвалили всю вину на Селивана, который спас нас от непогоды, но даже взвели на него новую напасть. Аполлинарий и все Аннушки рассказали нам, что когда Аполлинарий заметил в лесу хорошенький холм, с которого ему казалось удобно декламировать, — он побежал к этому холму через лощинку, засыпанную прошлогодним увядшим древесным листом, но здесь споткнулся на что-то мягкое. Это «мягкое» повернулось под ногами Аполлинария и заставило его упасть, а когда он стал вставать, то увидал, что это труп молодой крестьянской женщины. Он рассмотрел, что труп был в чистом белом сарафане с красным шитьем и… с перере-

занным горлом, из которого лилась кровь…

От такой ужасной неожиданности, конечно, можно было и перепугаться и закричать, — как он и сделал; но вот что было непонятно и удивительно: Аполлинарий, как я рассказываю, был от всех других в отдалении и один споткнулся о труп убитой, но все Аннушки и Роськи клялись и божились, что они тоже *видели* убитую…

— Иначе, — говорили они, — мы разве бы так испугались?

И я о сю пору уверен, что они не лгали, что они были глубоко уверены в том, что видели в Селивановом лесу убитую бабу в чистом крестьянском уборе с красным шитьем и с перерезанным горлом, из которого струилась кровь… Как это могло случиться?

Так как я пишу не вымысел, а то, что действительно было, то должен здесь остановиться и примолвить, что случай этот так и остался навсегда необъяснимым в доме нашем. Убитую и лежавшую, по словам Аполлинария, под листом в ямке женщину не мог видеть никто, кроме Аполлинария, ибо никого, кроме Аполлинария, здесь не было. Между тем все клялись, что все видели, точно эта мертвая баба в одно мгновенье ока проявилась на всех местах под глазами у

каждого. Кроме того, видел ли в действительности такую женщину и Аполлинарий? Едва ли это было возможно, потому что дело это происходило в самую росталь, когда еще и снег не везде стаял. Древесный лист лежал под снегом *с осени,* а между тем Аполлинарий видел труп в чистом белом уборе с шитьем, и кровь из раны еще струилась… Ничего такого в этом виде положительного не могло быть, но между тем все крестились и клялись, что видели бабу как раз так, как сказано. И все после боялись ночью спать, и всем страшно было, точно все мы сделали преступление. Вскоре и я получил убеждение, что мы с братом тоже видели зарезанную бабу. Тут у нас началась всеобщая боязнь, окончившаяся тем, что все дело открылось родителям, а отец написал письмо исправнику — и тот приезжал к нам с предлинной саблей и всех расспрашивал по секрету в отцовском кабинете. Аполлинария исправник призывал даже два раза и во второй раз делал ему такое сильное внушение, что у того, когда он вышел, оба уха горели как в огне и из одного из них даже шлакровь.

Это мы тоже *все видели.*

Но как бы то ни было, мы нашими россказнями причинили Селивану много горя: его обыски-

вали, осматривали весь его лес и самого его содержали долгое время под караулом, но ничего подозрительного у него не нашли, и следов виденной нами убитой женщины тоже никаких не оказалось. Селиван опять вернулся домой, но это ему не помогло в общественном мнении: все с этих пор знали, что он несомненный, хотя и неуловимый злодей, и не хотели иметь с ним ровно никакого дела. А меня, чтобы я не подвергался усиленному воздействию поэтического элемента, отвезли в «благородный пансион», где я и начал усвоивать себе общеобразовательные науки, в полной безмятежности, вплоть до приближения рождественских праздников, когда мне настало время ехать домой опять непременно мимо Селиванова двора и видеть в нем собственными глазами большие страхи.

Глава двенадцатая

Дурная репутация Селивана давала мне большой апломб[5] между моими пансионскими товарищами, с которыми я делился моими сведениями об этом страшном человеке. Из всех моих пансионерских сверстников ни один еще не переживал таких страшных ощущений, какими я мог похвастаться, и теперь, когда мне опять предстояло проехать мимо Селивана, — к этому никто не отнесся безучастно и равнодушно. Напротив, большинство товарищей меня сожалели и прямо говорили, что они не хотели бы быть на моем месте, а два или три смельчака мне завидовали и хвалились, что они бы очень хотели встретиться лицом к лицу с Селиваном. Но двое из этих были записные хвастунишки, а третий мог никого не бояться, потому что, по его словам, у его бабушки в *старинном веницейском кольце* был *«таусинный камень»*[5], с которым к человеку «никакая

[5] Примечания: 5

Тауси́нный камень, или тауси́нь — светлый сапфир с оттенком павлиньего пера, в старину считался спасительным талисманом. У Грозного был такой талисман тоже в кольце или, по-старинному, в «напалке». «Напалка золотная жуковиною (перстнем), а в ней камень таусень, а в том муть и как бы пузырина зрится». *(Примеч. автора.)*

беда неприступна». У нас же в семье такой драгоценности не было, да и притом я должен был совершить мое рождественское путешествие не на своих лошадях, а с тетушкою, которая как раз перед Святками продала дом в Орле и, получив за него тридцать тысяч рублей, ехала к нам, чтобы там, в наших краях, купить давно приторгованное для нее моим отцом имение.

К досаде моей, сборы тетушки целые два дня задерживались какими-то важными деловыми обстоятельствами, и мы выехали из Орла как раз утром в Рождественский сочельник.

Ехали мы в просторной рогожной троечной кибитке, с кучером Спиридоном и молодым лакеем Бориской. В экипаже помещались тетушка, я, мой двоюродный брат, маленькие кузины и няня — Любовь Тимофеевна.

На порядочных лошадях при хорошей дороге до нашей деревеньки от Орла можно было доехать в пять или шесть часов. Мы приехали в Кромы в два часа и остановились у знакомого купца, чтобы напиться чаю и покормить лошадей. Такая остановка у нас была в обычае, да ее требовал и туалет моей маленькой кузины, которую еще пеленали.

Погода была хорошая, близкая почти к оттепе-

ли; но пока мы кормили лошадей, стало слегка морозить, и потом «закурило», то есть помело по земле мелким снежком.

Тетушка была в раздумье: переждать ли это или, напротив, поспешить, ехать скорее, чтобы успеть добраться к нам домой ранее, чем может разыграться непогода.

Проехать оставалось с небольшим двадцать верст. Кучер и лакей, которым хотелось встретить праздник с родными и приятелями, уверяли, что мы успеем доехать благополучно — лишь бы только не медлить и выезжать скорее.

Мои желания и желания тетушки тоже вполне отвечали тому, чего хотели Спиридон и Бориска. Никто не хотел встретить праздник в чужом доме, в Кромах. Притом же тетушка была недоверчива и мнительна, а с нею теперь была такая значительная сумма денег, помещавшаяся в красного дерева шкатулочке, закрытой чехлом из толстого зеленого фриза*.

Ночевать с таким денежным богатством в чужом доме тетушке казалось очень небезопасным, и она решилась послушаться совета наших верных слуг.

С небольшим в три часа кибитка наша была запряжена, и мы выехали из Кром по направле-

нию к раскольницкой деревне Колчеве; но едва лишь переехали по льду через реку Крому, как почувствовали, что нам как бы вдруг недостало воздуха, чтобы дышать полною грудью. Лошади бежали шибко, пофыркивали и мотали головами — это составляло верный признак, что и они тоже испытывали недостаток воздуха. Между тем экипаж несся особенно легко, точно его сзади подпихивали. Ветер был нам взад и как бы гнал нас с усиленною скоро-стию к какой-то предначертанной меже. Скоро, однако, бойкий след по пути стал «заикаться»; по дороге пошли уже мягкие снеговые переносы, — они начали встречаться все чаще и чаще, наконец вскоре прежнего бойкого следа сделалось вовсе не видно.

Тетушка тревожно выглянула из возка, чтобы спросить кучера, верно ли мы держимся дороги, и сейчас же откинулась назад, потому что ее обдало мелкою холодною пылью, и, прежде чем мы успели дозваться к себе людей с козел, снег понесся густыми хлопьями, небо в мгновение стемнело, и мы очутились во власти настоящей снеговой бури.

Глава тринадцатая

Ехать назад к Кромам было так же опасно, как и ехать вперед. Даже позади чуть ли не было более опасности, потому что за нами осталась река, на которой было под городом несколько прорубей, и мы при метели легко могли их не разглядеть и попасть под лед, а впереди до самой нашей деревеньки шла ровная степь и только на одной седьмой версте — Селиванов лес, который в метель не увеличивал опасности, потому что в лесу должно быть даже тише. Притом в глубь леса проезжей дороги не было, а она шла по опушке. Лес нам мог быть только полезным указанием, что мы проехали половину дороги до дому, и потому кучер Спиридон погнал лошадей пошибче.

Дорога все становилась тяжелее и снежистее: прежнего веселого стука под полозьями не было и помина, а напротив, возок полз по рыхлому наносу и скоро начал бочить то в одну, то в другую сторону.

Мы потеряли спокойное настроение духа и начали чаще осведомляться о нашем положении у лакея и у кучера, которые давали нам ответы неопределенные и нетвердые. Они старались

внушить нам уверенность в нашей безопасности, но, очевидно, и сами такой уверенности в себе не чувствовали.

Через полчаса скорой езды, при которой кнут Спиридона все чаще и чаще щелкал по лошадкам, мы были обрадованы восклицанием:

— Вот Селиванкин лес завиднелся.

— Далеко он? — спросила тетушка.

— Нет, вот совсем до него доехали.

Это так и следовало — мы ехали от Кром уже около часа, но прошло еще добрых полчаса — мы все едем, и кнут хлещет по коням все чаще и чаще, а леса нет.

— Что же это такое? Где Селиванов лес?

С козел ничего не отвечают.

— Где же лес? — переспрашивает тетушка, — проехали мы его, что ли?

— Нет, еще не проезжали, — глухо, как бы из-под подушки, отвечает Спиридон.

— Да что же это значит?

Молчание.

— Подите вы сюда! Остановитесь! Остановитесь!

Тетушка выглянула из-за фартука и изо всех сил отчаянно крикнула: «Остановитесь!», а сама упала назад в возок, куда вместе с нею ввалилось

целое облако снежных шапок, которые, подчиняясь влиянию ветра, еще не сразу сели, а тряслись, точно реющие мухи.

Кучер остановил лошадей, и прекрасно сделал, потому что они тяжело носили животами и шатались от устали. Если бы им не дать в эту минуту передышки, бедные животные, вероятно, упали бы.

— Где ты? — спросила тетушка сошедшего Бориса.

Он был на себя не похож… Перед нами стоял не человек, а снежный столб. Воротник волчьей шубы у Бориса был поднят вверх и обвязан каким-то обрывком. Все это пропушило снегом и слепило в одну кучу.

Борис был не знаток дороги и робко отвечал, что мы, *кажется,* сбились.

— Позови сюда Спиридона.

Звать голосом было невозможно: метель всем затыкала рты и только сама одна ревела и выла на просторе с ужасающим ожесточением.

Бориска полез на козла*, чтобы потянуть Спиридона рукою, но… ему на это потребовалось потратить очень много времени, прежде чем он стал снова у возка и объяснил:

— Спиридона нет на козлах!

— Как нет! где же он?

— Я не знаю. Верно, сошел поискать следа. Позвольте, и я пойду.

— О Господи! Нет, не надо, — не ходи; а то вы оба пропадете, и мы все замерзнем.

Услыхав это слово, я и мой кузен заплакали, но в это же самое мгновение у возка рядом с Борисушкой появился другой снеговой столб, еще более крупный и страшный.

Это был Спиридон, надевший на себя запасной мочальный кулек, который стоял вокруг его головы, весь набитый снегом и обмерзлый.

— Где же ты видел лес, Спиридон?

— Видел, сударыня.

— Где же он теперь?

— И теперь видно.

Тетушка хотела посмотреть, но ничего не увидала, все было темно. Спиридон уверял, что это оттого, что она «необсмотремши»; но что он очень давно видит, как лес чернеет, но… только в том беда, что к нему подъезжаем, а он от нас отъезжает.

— Все это, воля ваша, Селивашка делает. Он нас куда-то заводит.

Услыхав, что мы попали в такую страшную пору в руки злодея Селивашки, мы с кузеном

заплакали еще громче, но тетушка, которая была по рождению деревенская барышня и потом полковая дама, она не так легко терялась, как городские дамы, которым всякие невзгоды меньше знакомы. У тетушки были опыт и сноровка, и они нас спасли из положения, которое в самом деле было очень опасно.

Глава четырнадцатая

Не знаю, верила или не верила тетушка в злое волшебство Селивана, но она прекрасно сообразила, что теперь всего важнее для нашего спасения, чтобы не выбились из сил наши лошади. Если лошади изнурятся и станут, а мороз закрепчает, то все мы непременно погибнем. Нас удушит буря и мороз заморозит. Но если лошади сохранят силу для того, чтобы брести как-нибудь, шаг за шагом, то можно питать надежду, что кони, идучи по ветру, сами выйдут как-нибудь на дорогу и привезут нас к какому-нибудь жилью. Пусть это будет хоть нетопленая избушка на курьих ножках в овражке, но все же в ней хоть не бьет так сердито вьюга и нет этого дерганья, которое ощущается при каждом усилии лошадей переставить их усталые ноги… Там бы можно было уснуть… Уснуть ужасно хотелось и мне и моему кузену. На этот счет из нас счастлива была только одна маленькая, которая спала за теплою заячьей шубкой у няни, но нам двум не давали засыпать. Тетушка знала, что это страшно, потому что сонный скорее замерзнет. Положение наше с каждой минутой становилось хуже, по-

тому что лошади уже едва шли и сидевшие на козлах кучер и лакей начали от стужи застывать и говорить невнятным языком, а тетушка перестала обращать внимание на меня с братом, и мы, прижавшись друг к другу, разом уснули. Мне даже виделись веселые сны: лето, наш сад, наши люди, Аполлинарий, и вдруг все это перескочило к поездке за ландышами и к Селивану, про которого не то что-то слышу, не то только что-то припоминаю. Все спуталось… так что никак не разберу, что происходит во сне, что наяву. Чувствуется холод, слышится вой ветра и тяжелое хлопанье рогожки на крышке возка, а прямо перед глазами стоит Селиван, в свитке на одно плечо, а в вытянутой к нам руке держит фонарь… Видение это, сон или картина фантазии?

Но это был не сон, не фантазия, а судьбе действительно угодно было привести нас в эту страшную ночь в страшный двор Селивана, и мы не могли искать себе спасения нигде в ином месте, потому что кругом не было вблизи никакого другого жилья. А между тем с нами была еще тетушкина шкатулка, в которой находилось тридцать тысяч ее денег, составлявших все ее состояние. Как остановиться с таким соблазнительным богатством у такого подозрительного человека, как Селиван?

Конечно, мы погибли! Впрочем, выбор мог быть только в том, что лучше — замерзнуть ли на вьюге или пасть под ножом Селивана и его злых сообщников?

Глава пятнадцатая

Как во время короткого мгновения, когда сверкнет молния, глаз, находившийся в темноте, вдруг различает разом множество предметов, так и при появлении осветившего нас Селиванова фонаря я видел ужас всех лиц нашего бедствующего экипажа. Кучер и лакей чуть не повалились перед ним на колена и остолбенели в наклоне, тетушка подалась назад, как будто хотела продавить спинку кибитки. Няня же припала лицом к ребенку и вдруг так сократилась, что сама сделалась не больше ребенка.

Селиван стоял молча, но… в его некрасивом лице я не видал ни малейшей злости. Он теперь казался только сосредоточеннее, чем тогда, когда нес меня на закорках. Оглядев нас, он тихо спросил:

— Отогреться, что ли?..

Тетушка оправилась скорее других и ответила ему:

— Да, мы замерзаем… Спаси нас!

— Пусть Бог спасет! Въезжайте — изба топлена.

И он сошел с порога и стал светить фонарем в

кибитке.

Между прислугою, тетушкою и Селиваном перекидывались отдельные коротенькие фразы, обнаружившие со стороны нашей недоверие к хозяину и страх, а со стороны Селивана какую-то далеко скрытую мужичью иронию и, пожалуй, тоже своего рода недоверие.

Кучер спрашивал, есть ли корм лошадям?

Селиван отвечал:

— Поищем.

Лакей Борис узнавал, есть ли *другие* проезжие?

— Взойдешь — увидишь, — отвечал Селиван.

Няня проговорила:

— Да у тебя не страшно ли оставаться?

Селиван отвечал:

— Страшно, так не заходи.

Тетушка остановила их, сказавши каждому как могла тише:

— Оставьте, не перекоряйтесь, — все равно это ничему не поможет. Дальше ехать нельзя. Останемся на волю Божью.

И между тем, пока шла эта перемолвка, мы очутились в дощатом отделении, отгороженном от просторной избы. Впереди всех вошла тетушка, а за нею Борис внес ее шкатулку. Потом вошли мы с кузеном и няня.

Шкатулку поставили на стол, а на нее поставили жестяной, оплывший салом подсвечник с небольшим огарком, которого могло достать на один час, не больше.

Практическая сообразительность тетушки сейчас же обратилась к этому предмету, то есть к свечке.

— Прежде всего, — сказала она Селивану, — принеси-ка мне, батюшка, новую свечку.

— Вот свечка.

— Нет, ты дай новую, целую!

— Новую, целую? — переспросил Селиван, опираясь одною рукою на стол, а другой о шкатулку.

— Давай поскорей новую целую свечку.

— Зачем тебе целую?

— Это не твое дело — я не скоро спать лягу. Может быть, буря пройдет — мы поедем.

— Буря не пройдет.

— Ну все равно — я тебе за свечку заплачу.

— Знамо заплатила б, да нет у меня свечки.

— Поищи, батюшка!

— Что неположенного искать попусту!

В этот разговор вмешался неожиданно слабый-преслабый тонкий голос из-за перегородки:

— Нет у нас, матушка, свечечки.

— Кто это говорит? — спросила тетушка.

— Моя жена.

Лица тетки и няни немножко просияли. Близкое присутствие женщины, казалось, имело что-то ободрительное.

— Что она, больна, что ли?

— Больна.

— Чем?

— Хворостью. Ложитесь, мне огарок в фонарь нужен. Надо лошадей ввесть.

И как с Селиваном ни разговаривали, он настоял на своем: что огарок ему необходим, да и только. Он обещал принести его снова — но пока взял его и вышел.

Исполнил ли Селиван свое обещание принести назад огарок, — этого я уже не видел, потому что мы с кузеном опять спали, но меня, однако, что-то тревожило. Сквозь сон я слышал иногда шушуканье тетушки с няней и улавливал в этом шепоте чаще всего слово «шкатулка».

Очевидно, няня и другие наши люди знали, что в этом ларце сокрыты большие драгоценности, и все заметили, что шкатулка с первого же мгновения остановила на себе алчное внимание нашего неблагонадежного хозяина.

Обладавшая большою житейскою опытностью, тетушка моя видела явную необходимость под-

чиняться обстоятельствам, но зато тотчас же сделала соответственные опасному положению распоряжения.

Чтобы Селиван не зарезал нас, решено было, чтобы никто не спал. Лошадей велено было выпрячь, но не снимать с них хомутов, и кучеру с лакеем сидеть обоим в повозке: они не должны были разъединяться, потому что поодиночке Селиван их перебьет и мы тогда останемся беспомощны. Тогда он убьет, конечно, и нас и всех нас зароет под полом, где зарыто уже и без того множество жертв его лютости. В избе с нами кучер и лакей не могли быть оставлены, потому что тогда Селиван обрежет гужи в коренном хомуте, чтобы нельзя было запречь лошадей, или совсем сдаст всю тройку своим товарищам, которые у него пока где-то припрятаны. В таком случае нам не на чем будет и спасаться, между тем как очень может статься, что метель скоро уляжется, и тогда кучер станет запрягать, а Борис стукнет три раза в стенку, и мы все бросимся на двор, сядем и уедем. Для того чтобы быть постоянно наготове, и из нас никто не раздевался.

Не знаю, долго ли или коротко шло время для прочих, но для нас, двух спящих мальчиков, оно пролетело как одно мгновенье, которое вдруг

завершилось ужаснейшим пробуждением.

Глава шестнадцатая

Я проснулся оттого, что мне стало невыносимо тяжело дышать. Открыв глаза, я не увидал ничего ровно, потому что вокруг меня было темно, но только в отдалении что-то как будто серело: это обозначалось окно. Но зато, как при свете Селиванова фонаря я разом увидал лица всех бывших на той ужасной сцене людей, так теперь я в одно мгновенье вспомнил все — кто я, где я, зачем я здесь, кто есть у меня милые и дорогие в отцовском доме, — и мне стало всего и всех жалко, и больно, и страшно, и мне хотелось закричать, но это-то и было невозможно. Мои уста были зажаты плотно человеческою рукою, а на ухо трепетный голос шептал мне:

— Ни звука, молчи, ни звука! Мы погибли — к нам ломятся.

Я узнал теткин голос и пожал ее руку в знак того, что я понимаю ее требование.

За дверями, которые выходили в сени, слышался шорох… кто-то тихо переступал с ноги на ногу и водил по стене руками… Очевидно, этот злодей искал, но никак не мог найти двери…

Тетушка прижала нас к себе и прошептала, что

Бог нам еще может помочь, потому что в дверях ею устроено укрепление. Но в это же самое мгновение, может быть именно потому, что мы выдали себя своим шепотом и дрожью, за тесовой перегородкой, где была изба и откуда при разговоре о свечке отзывалась жена Селивана, кто-то выбежал и сцепился с тем, кто тихо подкрадывался к нашей двери, и они вдвоем начали ломиться; дверь затрещала, и к нашим ногам полетели стол, скамья и чемоданы, которыми заставилась тетушка, а в самой распахнувшейся двери появилось лицо Борисушки, за шею которого держались могучие руки Селивана…

Увидав это, тетушка закричала на Селивана и бросилась к Борису.

— Матушка! Бог спас, — хрипел Борис.

Селиван принял свои руки и стоял.

— Скорее, скорей вон отсюда, — заговорила тетушка. — Где наши лошади?

— Лошади у крыльца, матушка, я только хотел вас вызвать… А этот разбойник… Бог спас, матушка! — лепетал скороговоркою Борис, хватая за руки меня и моего кузена и забирая по дороге все, что попало. Все врозь бросились в двери, вскочили в повозку и понеслись вскачь, сколько было конской мочи. Селиван, казалось, был

жестоко переконфужен и смотрел нам вслед. Он, очевидно, знал, что это не может пройти без последствий.

На дворе теперь светало, и перед нами на востоке горела красная, морозная рождественская заря.

Глава семнадцатая

Мы доехали до дому не более как в полчаса, во все время безумолчно толкуя о пережитых нами страхах. Тетушка, няня, кучер и Борис все перебивали друг друга и беспрестанно крестились, благодаря Бога за наше удивительное спасение. Тетушка говорила, что она не спала всю ночь, потому что ей беспрестанно слышалось, как кто-то несколько раз подходил, пробовал отворить двери. Это и понудило ее загромоздить вход всем, что попалось под ее руки. Она тоже слышала какой-то подозрительный шепот за перегородкою у Селивана, и ей казалось, что он не раз тихонько отворял свою дверь, выходил в сени и тихонько пробовал за скобку нашей двери. Все это слышала и няня, хотя она, по ее словам, минутами засыпала. Кучер и Борис видели более всех. Боясь за лошадей, кучер не отходил от них ни на минуту, но Борисушка не раз подходил к нашим дверям и всякий раз, как подходил он, — сию же минуту появлялся из своих дверей и Селиван. Когда буря перед рассветом утихла, кучер и Борис тихонько запрягли лошадей и тихонько же выехали, сами отперев ворота; но когда Борис также тихо по-

дошел опять к нашей двери, чтобы нас вывесть, тут Селиван увидал, что добыча уходит у него из рук, бросился на Бориса и начал его душить. Слава Богу, конечно, что это ему не удалось, и он теперь уже не отделается одними подозрениями, как отделывался до сих пор: его злые намерения были слишком ясны и слишком очевидны, и все это происходило не с глазу на глаз с каким-нибудь одним человеком, а при шести свидетелях, из которых тетушка одна стоила по своему значению нескольких, потому что она слыла во всем городе умницею и к ней, несмотря на ее среднее состояние, заезжал с визитами губернатор, а наш тогдашний исправник был ей обязан устройством своего семейного благополучия. По одному ее слову он, разумеется, сейчас же возьмется расследовать дело по горячим следам, и Селивану не миновать петли, которую он думал накинуть на наши шеи.

Сами обстоятельства, казалось, слагались так, что все собиралось к немедленному отмщению за нас Селивану и к наказанию его за зверское покушение на нашу жизнь и имущество.

Подъезжая к своему дому, за родником на горе, мы встретили верхового парня, который, завидев нас, чрезвычайно обрадовался, заболтал ногами

по бокам лошади, на которой ехал, и, сняв издали шапку, подскакал к нам с сияющим лицом и начал рапортовать тетушке, какое мы причинили дома всем беспокойство.

Оказалось, что отец, мать и все домашние тоже не спали. Нас непременно ждали, и с тех пор, как вечером начала разыгрываться метель, все были в большой тревоге — не сбились ли мы с дороги или не случилось ли с нами какое-нибудь другое несчастье: могла сломаться в ухабе оглобля, — могли напасть волки… Отец высылал навстречу нам несколько человек верховых людей с фонарями, но буря рвала из рук и гасила фонари, да и ни люди, ни лошади никак не могли отбиться от дома. Топочется человек очень долго — все ему кажется, будто он едет против бури, и вдруг остановка, и лошадь ни с места далее. Седок ее понуждает, хотя и сам едва дышит от задухи, но конь не идет… Вершник слезет, чтобы взять за повод и провести оробевшее животное, и вдруг, к удивлению своему, открывает, что лошадь его стоит, упершись лбом в стену конюшни или сарая… Только один из разведчиков уехал немножко далее и имел настоящую дорожную встречу: это был шорник Прохор. Ему дали выносную форейторскую лошадь, которая закусывала

между зубами удила, так что железо до губ ее не дотрагивалось, и ей через то становились нечувствительны никакие удержки. Она и понесла Прохора в самый ад метели и скакала долго, брыкая задом и загибая голову к передним коленам, пока наконец при одном таком вольте шорник перелетел через ее голову и всею своею фигурою ввалился в какую-то странную кучу живых людей, не оказавших, впрочем, ему с первого раза никакого дружелюбия. Напротив, из них кто-то тут же снабдил его тумаком в голову, другой сделал поправку в спину, а третий стал мять ногами и приталкивать чем-то холодным, металлическим и крайне неудобным для ощущения.

Прохор был малый не промах, — он понял, что имеет дело с особенными существами, и неистово закричал.

Испытываемый им ужас, вероятно, придал его голосу особенную силу, и он был немедленно услышан. Для спасения его тут же, в трех от него шагах, показалось «огненное светение». Это был огонь, который выставили на окне в нашей кухне, под стеною которой приютились исправник, его письмоводитель, рассыльный солдат и ямщик с тройкою лошадей, увязших в сугробе.

Они тоже сбились с дороги и, попав к нашей

кухне, думали, что находятся где-то на лугу у сенного омета.

Их откопали и просили кого на кухню, кого в дом, где исправник теперь и кушал чай, собираясь поспеть к своим в город ранее, чем они проснутся и встревожатся его отсутствием после такой ненастной ночи.

— Вот это прекрасно, — сказала тетушка, — исправник теперь всех нужнее.

— Да! он барин хватский, — он Селивашке задаст! — подхватили люди, и мы понеслись вскачь и подкатили к дому, когда Исправникова тройка стояла еще у нашего крыльца.

Сейчас исправнику все расскажут, и через полчаса разбойник Селиван будет уже в его руках.

Глава восемнадцатая

Мой отец и исправник были поражены тем, что мы перенесли в дороге и особенно в разбойничьем доме Селивана, который хотел нас убить и воспользоваться нашими вещами и деньгами…

Кстати, о деньгах. При упоминании о них тетушка сейчас же воскликнула:

— Ах, боже мой! да где же моя шкатулка?

В самом деле, где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи?

Представьте себе, что ее не было! Да, да, ее-то одной только и не было ни в комнатах между внесенными вещами, ни в повозке — словом, нигде… Шкатулка, очевидно, осталась там и теперь — в руках Селивана… Или… может быть, даже он ее еще ночью выкрал. Ему ведь это было возможно; он, как хозяин, мог знать все щелки своего дрянного дома, и этих щелок у него, наверно, немало… Могла у него быть и подъемная половица, и приставная дощечка в перегородке.

И едва только опытным в выслеживании разбойничьих дел исправником было высказано последнее предположение о приставной дощечке, которую Селиван мог ночью тихонько

отставить и через нее утащить шкатулку, как тетушка закрыла руками лицо и упала в кресло.

Боясь за свою шкатулку, она именно спрятала ее в уголок под лавкою, которая приходилась к перегородке, отделяющей наше ночное помещение от той части избы, где оставался сам Селиван с его женою…

— Ну, вот оно и есть! — воскликнул, радуясь верности своих опытных соображений, исправник. — Вы сами ему подставили вашу шкатулку!.. но я все-таки удивляюсь, что ни вы, ни люди, никто ее не хватился, когда вам пришло время ехать.

— Да боже мой! мы были все в таком страхе! — стонала тетушка.

— И это правда, правда; я вам верю, — говорил исправник, — вам было чего напугаться, но все-таки… такая большая сумма… такие хорошие деньги. Я сейчас скачу, скачу туда… Он, верно, уже скрылся куда-нибудь, но он от меня не уйдет! Наше счастье, что все знают, что он вор, и все его не любят: его никто не станет скрывать… А впрочем — теперь у него в руках есть деньги… он может делиться… Надо спешить… Народ ведь шельма… Прощайте, я еду. А вы успокойтесь, примите капли… Я их воровскую натуру знаю и

уверяю вас, что он будет пойман.

И исправник опоясался своею саблею, как вдруг в передней послышалось между бывшими там людьми необыкновенное движение, и… через порог в залу, где все мы находились, тяжело дыша, вошел Селиван с тетушкиной шкатулкой в руках.

Все вскочили с мест и остановились как вкопанные…

— Укладочку забыли, возьмите, — глухо произнес Селиван.

Более он ничего не мог говорить, потому что совсем задыхался от непомерной скорой ходьбы и, может быть, от сильного внутреннего волнения.

Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не прошенный, сел на стул и опустил голову и руки.

Глава девятнадцатая

Шкатулка была в полной целости. Тетушка сняла с шеи ключик, отперла ее и воскликнула:

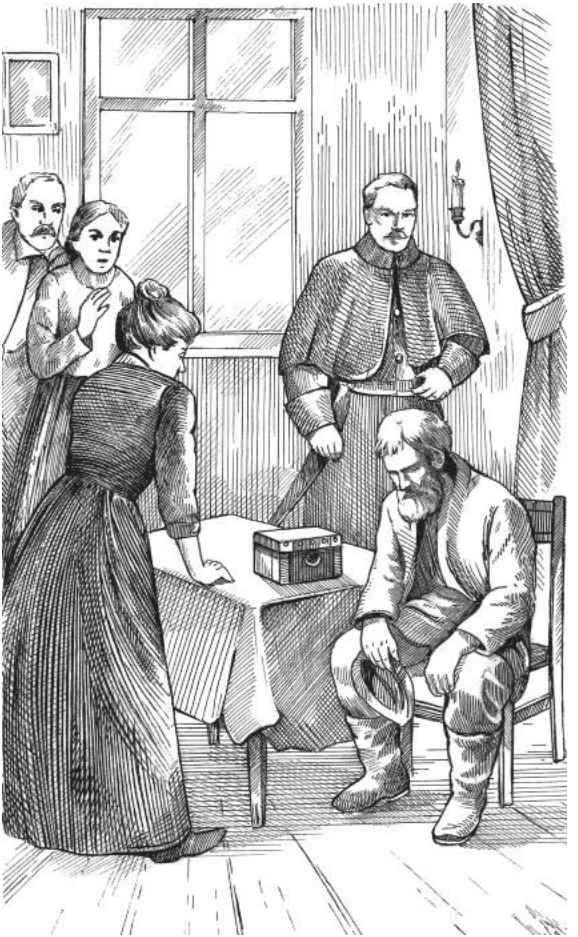
— Все, все как было!

— Сохранно… — тихо молвил Селиван. — Я все бег за вами… хотел догнать… не сдужал… Простите, что сижу перед вами… задохнулся.

Отец первый подошел к нему, обнял его и поцеловал в голову.

Селиван не трогался.

Тетушка вынула из шкатулки две сотенные бумажки и стала давать их ему в руки.



Селиван продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал.

— Возьми что тебе дают, — сказал исправник.

— За что? — не надо!

— За то, что ты честно сберег и принес забытые у тебя деньги.

— А то как же? Разве надо не честно?

— Ну, ты… хороший человек… ты не подумал утаить чужое.

— Утаить чужое!.. — Селиван покачал головою и добавил: — Мне не надо чужого.

— Но ведь ты беден — возьми это себе на поправку! — ласкала его тетушка.

— Возьми, возьми, — убеждал его мой отец. — Ты имеешь на это право.

— Какое право?

Ему сказали про закон, по которому всякий, кто найдет и возвратит потерянное, имеет право на третью часть находки.

— Что такой за закон, — отвечал он, снова отстраняя от себя тетушкину руку с бумажками. — Чужою бедою не разживешься… Не надо! — прощайте!

И он встал с места, чтобы идти назад к своему опороченному дворишку, но отец его не пустил: он взял его к себе в кабинет и заперся там с ним

на ключ, а потом через час велел запречь сани и отвезти его домой.

Через день об этом происшествии знали в городе и в округе, а через два дня отец с тетушкою поехали в Кромы и, остановясь у Селивана, пили в его избе чай и оставили его жене теплую шубу. На обратном пути они опять заехали к нему и еще привезли ему подарков: чаю, сахару и муки.

Он брал все вежливо, но неохотно и говорил:

— На что? Ко мне теперь, вот уже три дня, все стали люди заезжать… пошел доход… щи варили… Нас не боятся, как прежде боялись.

Когда меня повезли после праздников в пансион, со мною опять была к Селивану посылка, и я пил у него чай и все смотрел ему в лицо и думал: «Какое у него прекрасное, доброе лицо! Отчего же он мне и другим так долго казался *пугалом?*»

Эта мысль преследовала меня и не оставляла в покое… Ведь это тот же самый человек, который всем представлялся таким страшным, которого все считали колдуном и злодеем. И так долго все выходило похоже на то, что он только тем и занят, что замышляет и устраивает злодеяния. Отчего же он вдруг стал так хорош и приятен?

Глава двадцатая

Я был очень счастлив в своем детстве в том отношении, что первые уроки религии мне были даны превосходным христианином. Это был орловский священник Остромыслений — хороший друг моего отца и друг всех нас, детей, которых он умел научить любить правду и милосердие. Я не рассказывал товарищам ничего о том, что произошло с нами в рождественскую ночь у Селивана, потому что во всем этом не было никакой похвалы моей храбрости, а, напротив, над моим страхом можно было посмеяться, но я открыл все мои приключения и сомнения отцу Ефиму.

Он меня поласкал рукою и сказал:

— Ты очень счастлив; твоя душа в день Рождества была — как ясли для святого Младенца, который пришел на землю, чтоб пострадать за несчастных. Христос озарил для тебя тьму, которою окутывало твое воображение — пусторечие темных людей. Пугало было не Селиван, а вы сами, — ваша к нему подозрительность, которая никому не позволяла видеть его добрую совесть. Лицо его казалось вам темным, потому что око ваше было темно. Наблюди это для того, чтобы в

другой раз не быть таким же слепым.

Это был совет умный и прекрасный. В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с Селиваном и имел счастье видеть, как он у всех сделался человеком любимым и почетным.

В новом имении, которое купила тетушка, был хороший постоялый двор на проезжем трактовом пункте. Этот двор она и предложила Селивану на хороших для него условиях, Селиван это принял и жил в этом дворе до самой своей кончины. Тут сбылись мои давние детские сны: я не только близко познакомился с Селиваном, но мы питали один к другому полное доверие и дружбу. Я видел, как изменилось к лучшему его положение — как у него в доме водворилось спокойствие и мало-помалу заводился достаток; как вместо прежних хмурых выражений на лицах людей, встречавших Селивана, теперь все смотрели на него с удовольствием. И действительно, вышло так, что как только просветились очи окружавших Селивана, так сделалось светлым и его собственное лицо.

Из тетушкиных людей Селивана особенно не любил лакей Борисушка, которого Селиван чуть не задушил в ту памятную нам рождественскую ночь.

Над этой историей иногда подшучивали. Случай этой ночи объяснялся тем, что как у всех было подозрение — не ограбил бы тетушку Селиван, так точно и Селиван имел сильное подозрение: не завезли ли нас кучер и лакей на его двор нарочно с тем умыслом, чтобы украсть здесь ночью тетушкины деньги и потом свалить все удобнейшим образом на подозрительного Селивана.

Недоверие и подозрительность с одной стороны вызывали недоверие же и подозрения — с другой, — и всем казалось, что все они — враги между собою и все имеют основание считать друг друга людьми, склонными ко злу.

Так всегда зло родит другое зло и побеждается только добром, которое, по слову Евангелия, делает око и сердце наше чистыми.

Глава двадцать первая

Остается досказать, отчего же, однако, с тех пор, как Селиван ушел от калачника, он стал угрюм и скрытен? Кто тогда его огорчил и оттолкнул?

Отец мой, будучи расположен к этому доброму человеку, все-таки думал, что у него есть какая-то *тайна,* которую Селиван упорно скрывает.

Это так и было, но Селиван открыл свою тайну одной только тетушке моей, и то после нескольких лет жизни в ее имении и после того, когда у Селивана умерла его всегда болевшая жена.

Когда я раз приехал к тетушке, бывши уже юношею, и мы стали вспоминать о Селиване, который и сам незадолго перед тем умер, то тетушка рассказала мне его тайну.

Дело заключалось в том, что Селиван, по нежной доброте своего сердца, был тронут горестной судьбою беспомощной дочери умершего в их городе отставного палача. Девочку эту никто не хотел приютить, как дитя человека презренного. Селиван был беден, и притом он не мог решиться держать у себя палачову дочку в городке, где ее и его все знали. Он должен был скрывать от всех ее происхождение, в котором она была неповинна.

Иначе она не избежала бы тяжких попреков от людей, неспособных быть милостивыми и справедливыми. Селиван скрывал ее потому, что постоянно боялся, что ее узнают и оскорбят, и эта скрытность и тревога сообщились всему его существу и отчасти на нем отпечатлелись.

Так, каждый, кто называл Селивана «пугалом», в гораздо большей мере сам был для него «пугалом».

Примечания

Леди Макбет Мценского уезда

С. 19. Река *Ту́скарь* протекала в Орловской по границе с Курской губернией.

С. 21. *Киево-Печерский патерик* — памятник древнерусской литературы XIII в.

Ле́жень — лежачее бревно, брус.

Скры́ня — здесь: ближайшая к плотине часть мельничного пруда.

С. 22. *Што́фная шубочка* — т. е. из штофа, плотной шелковой ткани.

Пуд — старинная русская мера веса, равная 16,4 кг.

Пихте́рь (обл.) — корзина, кошель.

С. 23. *Фунт* — старинная русская мера веса, равная 409,5 г.

С. 25. *Мерка* — сосуд, вмещающий пуд зерна.

С. 26. Ана́фему можно понимать в широком смысле как проклятие. Значит треклятая, проклятущая.

С. 30. *А́спид* — злобный человек *(бран.).*

С. 31. *Верста* — старинная русская мера длины, равная 1,06 км.

С. 55. *Пунсо́вый* — ярко-красный.

Киса́ — кожаный мешок.

С. 56. *Городской голова* — председатель городской думы, т. е. выборного городского совета.

С. 59. *Чавре́ть* — чахнуть, сохнуть.

С. 60. *Обмо́гаться* — оправляться от болезни.

С. 63. *Феодор Стратила́т* — христианский святой, распятый за веру (319 г.).

С. 67. *Ре́гент* — дирижер церковного хора.

Те́нор — мужской голос с мягким тембром.

В Орловской губернии певчие так называют форшляги. *(Прим, автора,) Варшлаки,* или *форшла́ги* — мелодическое украшение.

С. 68. *На́нка* — прочная хлопчатобумажная ткань.

С. 69. *Пядь* — старинная русская мера длины, равная расстоянию между концами растянутых большого и указательного пальцев.

С. 71. *Пестряди́нный* — из грубой льняной или хлопчатобумажной ткани из разноцветных ниток.

У́ндер — первый военный чин, после звания рядового или ефрейтора.

С. 72. *Четвертачок,* четвертак — серебряная монета в четверть рубля, 25 копеек.

С. 76. *Чепу́ритъся (диал.)* — прихорашиваться.

С. 77. *Гри́вна* — десять копеек.

С. 82. *Библейский праведник Иов* подвергся

страшным испытаниям, но не хулил Бога. Терзаемый муками, Иов возгласил: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек». (*Библия. Книга Иова, III,* 3).

Стихотворение Якова Полонского «Вызов» (1844 г., опубл. 1845 г.) было положено на музыку дважды: Петром Булаховым (1856 г.), а затем Александром Даргомыжским (1858 г.).

С. 87. *Багóр* — шест с металлическим крюком и острием.

Плоти́ца, или плотва, — рыба из семейства карповых.

Однодум

С. 88. *Прика́зного рода* — из рода государственных служащих.

Имеется в виду *«Всеобщий географический и статистический словарь»*, составленный князем Сергеем Петровичем Гагариным, который вышел в Москве в 1843 г.

Мелкотравчатый — здесь: незначительный.

С. 89. *Скоро́мные и постные дни* — те, по которым, в соответствии с церковным календарем, разрешалась или не разрешалась пища животного происхождения.

С. 89. *На́чва* — неглубокое, тонко отделанное корытце, лоток.

С. 90. *Досу́ж* — мастер на все руки.

Поминание — записочка со списком усопших для поминания их в молитвах.

С. 91. *Челоби́тчик* — жалобщик.

С. 92. *Бёрнс* Роберт (1759–1796) — английский поэт; *Кольцов* Алексей Васильевич (1809–1842) — русский поэт.

С. 93. *Иса́ия* — ветхозаветный пророк.

Катехи́зис — основное учение о христианской вере.

«Позна вол Стяжавшего…» — неточная цитата из Библии. (Книга пророка Исаии, I, 2–24.)

С. 94. *Иезекии́ль* — ветхозаветный пророк.

С. 95. *Испра́вник* — начальник полиции в уезде.

Теократическая (ирон.) — божественная.

С. 96. *«Сретали́»* — встречали Сретение Господне.

Подрукавная знать — незнатное, мелкое дворянство.

Адъюта́нт — офицер, который помогает командиру в управлении подразделением.

«Ризка» (прост.) — название одежды или куска ткани для обряда крещения.

Кварта́льный — полицейский надзиратель в квартале.

С. 97. Неточное воспроизведение слов городничего из «Ревизора» Н. В. Гоголя *«и вольтериянцы напрасно против этого говорят»* (дейст. I, явл. 1).

С. 98. *Мера* — старинная русская единица объёма для сыпучих тел, равная приблизительно объёму одного пуда зерна.

С. 100. *Сва́риться* — браниться.

Бескасательный — не берущий даров.

Похристосоваться — поцеловаться троекратно, поздравляя друг друга с праздником Пасхи.

Ти́ковый бешмет — верхняя открытая одежда

из грубой ткани, доходящая до колен, стеганый полукафтан.

С. 101. *Нагóльный тулуп* — меховой тулуп кожей наружу.

С. 101. *Скарéдно* — скупо.

Причт — служитель церковного прихода.

Сорокоýст — поминовение усопших, совершаемое в церкви в течение сорока дней после смерти.

Бýдарь, бýдочник — низший чин полиции, дежуривший в будке.

С. 102. *Масонская* — здесь: вольнодумная.

Великий пост — сорокадневный пост перед Пасхой.

На ладонке — на ладони.

Прислать на дух — прислать на исповедь.

…слова Павла — апостола Павла.

Кийждо (церк. — слав.) — каждый.

С. 103. *Говéние и исповедь* — церковные обряды.

С. 104. *Бибель* — Библия.

С. 106. *Рáжая (прост.)* — крепкая, здоровая.

С. 108. *Откупщúк* — делец, откупивший у государства право на получение доходов или сбор налогов.

Епитимия́ — покаяние, налагаемое церковью.

С. 109. *Сергей Степанович Ланской* (1787–1862)

— граф, видный деятель крестьянской реформы.

С. 111. *Зерца́ло* — треугольная призма; помещалась на столе в присутственных местах. На трех сторонах призмы наклеивали указы Петра I.

Апофео́зою жизни — увенчанием деятельности.

Хитон обличает мя, яко несть брачен… — «Одежда доказывает, что я чужой на брачном пиру».

С. 112. *Репрезентова́ть (фр.)* — здесь: представлять.

С. 113. *Пе́стрядь* — здесь: пестрота.

С. 114. *Отметки регистров* — имеется в виду проверка регистрации входящих и исходящих бумаг в канцеляриях.

Декольте́ (фр.) — глубокий вырез платья.

Маншку́рт (фр.) — верхняя женская одежда без рукавов или с короткими рукавами.

С. 115. *Оффенба́ховский* — легкомысленный, как в опереттах композитора Жака Оффенбаха.

С. 117. *Кошла́тый* — взъерошенный, лохматый.

С. 119. *Срета́я* — встречая.

Глаго́лить — говорить.

Заседатель — выборный член уездного суда.

Ордина́рия — здесь: обычная мера.

С. 120. *Канифа́совый* — из парусиновой, льня-

ной ткани.

С. 121. *Сто́лпник* — подвижник, который отделяет себя от мира.

Шланбов — шлагбаум.

С. 122. *«А́пликовая» чаша* — чаша с накладным серебром.

С. 123. *Гря́дый* — идущий.

Алта́рь (лат.) — возвышенная восточная часть христианского храма, где духовенство совершает священнодействия.

Амво́н (греч.) — возвышенный выступ в храме, с которого произносят проповеди, читают Священное Писание и на котором совершают таинства.

С. 124. *Солея́ (среднегреч.)* — возвышение перед иконостасом, предшествующее алтарю.

Анти́к (иноск. шут.) — редкий чудак.

С. 125. *Коро́нный* — государственный, правительственный.

Голова — в царской России начальствующая должность.

С. 129. *Оберток бумаги* — переплетенная рукопись.

Императрица Екатерина II (1729–1796) называла себя «ученицей» французского писателя и философа Вольтера (1694–1778) и вела с ним длительную переписку, обсуждая самый широкий

круг тем.

Иоанн Златоуст (около 347–407) — византийский проповедник, обличавший богатство и роскошь высшего духовенства, безнравственность императорской семьи.

С. 130. *Попе́нный сбор* — сбор (по пням) за срубленные деревья.

С. 133. Рассказ «Однодум» был опубликован в 1879 г. как первый из цикла «Русские антики» с подзаголовком «Три праведника».

Зверь

С. 134. *Старец Серафим* (1754–1833) — монах Саровской пустыни, причислен к лику святых.

С. 138. *Доéзжачий* — псарь, распоряжающийся собаками на охоте.

С. 140. *Кухенрéйтеровский штуцер* — ударно-кремневое ружье, изготовленное немецким оружейником Джозефом Кюхенрейтером.

Сóшка — подставка для ружья при стрельбе с упора.

С. 141. *Грифóн* — порода легавых собак.

С. 142. *«Больничка»* — кольцо, продетое сквозь губу или носовой хрящ зверя.

С. 143. *Творúло* — здесь: отверстие, лаз.

Аршúн — старинная русская мера длины, равная 0,71 м.

С. 144. *«Сáдка»* — травля зверя собаками.

С. 147. *Архалýк (тюрк.)* — короткое мужское платье, заменяющее халат.

Пахвá — седельный ремень с кольцом, в которое продевается хвост лошади. *Паперсь* — конский нагрудник.

Вéршник — всадник.

…шведские Штрабусы, немецкие Моргенраты,

английские Мортимеры и варшавские Колеты… — ружья, названные по именам создавших их оружейников.

Орча́к — остов седла.

Вальтра́п (нем.) — толстая суконная подстилка, надеваемая под или на седло для защиты спины лошади.

С. 148. *Ара́пник* — длинная охотничья плеть с короткой рукояткой.

С. 149. *На во́рке* — на скотном дворе.

С. 155. *Праща́* — древнее ручное метательное оружие.

С. 159. *Фуля́р (устар.)* — платок из шелковой ткани.

С. 161. *Рящи́те (церк. — слав.)* — встречайте.

…поднесли злато, сми́рну и лива́н волхвы древности. — По преданию, к младенцу Иисусу Христу пришли поклониться волхвы (мудрецы), принеся в дар золото, смирну (благовонная смола для курения) и ливан (ладан) (Евангелие от Матфея, II, 1–11).

Старый гений

С. 164. *Ларошфуко Франсуа* (1613–1680) — герцог, французский писатель-моралист.

С. 166. *Уряд* — здесь: ранг, положение, должность.

Специали́сты — здесь: вместо социалисты.

С. 169. *Са́ечник* — тот, кто пек сайки (булки) и торговал ими.

…он четырнадцатого класса. — Согласно Табели о рангах, введенной Петром Великим (1722), чины в России делились на 14 классов; 14-й (коллежский регистратор) был низшим.

С. 170. *Прифи́кс (фр. prix fixe)* — твердая цена.

С. 174. *«Сербский сражателъ»* — участник войн Сербии с Турцией 1876–1878 гг.

Пугало

С. 178. *…родители мои купили небольшое именьице в Кромском уезде. Тем же летом мы переехали…* — Сведения автобиографичны. Действительно зимой 1839 г. отец Николая Семеновича Лескова купил имение Панино, недалеко от Орла. Переехала семья в Панино летом 1839 г.

С. 180. *Рига* и *ови́н* — хозяйственные постройки, которые использовались для просушки снопов перед обмолотом и для самой молотьбы.

Зама́шки — стебли конопли.

С. 181. *Сажа́лка* — небольшой водоем для замачивания конопли.

Пово́йник — головной убор замужних крестьянок в виде повязки, надеваемой под платок.

С. 191. *Че́рез (устар.)* — узкий и длинный кошелек, который обвивали вокруг пояса или вокруг ноги под одеждой.

С. 197. *Буцефа́л.* Иронично буцефалом называют старую плохую лошадь.

С. 200. *Кута́с* — шнур на кивере.

Цейхга́уз (нем.) — военная кладовая.

С. 203. *Просо́вы* — ямы с водой, невидимые под снегом.

Неде́льных — воскресных.

Ри́тор — ученик духовной семинарии по классу риторики.

Становóй — полицейское должностное лицо.

С. 204. *Легконосная* — быстроногая.

С. 206. *«На шереметевский счет»* — бесплатно.

С. 207. *Кулéш* — жидкая кашица, похлебка.

С. 208. *Пифóн* — в греческой мифологии чудовищный змей.

Цéрбер — в греческой мифологии трехголовый пес, охраняющий выход из царства мертвых в Аиде.

С. 209. *Этишкéт* — длинный шнур с кистями на конце, идущий от рукоятки шашки к воротнику.

С. 210. *Сердце забилось и заныло, как у Вара при входе в Тевтобургские дебри. — Вар, Публий Квинтилий* (ок. 53 г. до н. э. — 9 г. н. э.) — древнеримский полководец, войска которого в 9 г. н. э. были завлечены германским полководцем Арминием в Тевтобургский лес и разбиты наголову.

С. 221. *Аплóмб* — самоуверенность в поведении.

С. 223. *Фриз (фр.)* — старинная грубая ворсистая ткань типа байки.

С. 226. *Кóзлы* — сиденье для кучера в передке экипажа, повозки.